

ЗЧРК
К56

ПАВЛОДАР
ЛИТЕРАТУРНИЙ



ВОЛЬКА
БАКЛАН

НОРМАН
КОВХАН

84P7K
K56

Юрий Ковхаев

ВОЛЬКА БАКЛАН

ПОВЕСТЬ
И
РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Павлодар
Трикум
1992

-470402-

Павлодарская
областная
объединенная
библиотека

06

Ковхаев Ю. А. Волька Баклан. Повесть и рассказы разных лет. - Павлодар, Трианум, 1992.

В книге собраны произведения, написанные павлодарским журналистом Юрием Ковхаевым в разные годы. Наиболее ранние относятся к шестидесятым годам ("Мизгирь", "Фроськино небо").

В основе повести и рассказов - впечатления детства, наблюдения за бытом и нравами сибирского села "хрущевской" эпохи. Повесть "Волька Баклан" публикуется впервые.

Художник

Виктор Поликарпов

ВОЛКА БАКЛАН

П о в е с т ь

Это был уютный приазовский городок с булыжными мостовыми, с зубчатыми тентами над витринами магазинов, с арбузными корками и обглоданными кукурузными початками в дорожных кюветах, с похожими на врачей галантными парикмахерами, с недвижимо дремлющими на низеньких скамеечках айсорами - чистильщиками обуви, с бесчисленным множеством винных погребков, тиров, часовых мастерских. Это был город пышных кленов, белопенных акаций и облачно нежных туевых кустов, город, где раскаленный день гонял по улицам тугие жгуты колючей пыли, а душная тихая ночь порочно подмаргивала земле воспаленными звездами.

Город кончался у железной дороги. А за нею, по берегу пованивающего старой бочкой изжелта-серого лимана рассыпал сахарно белые домики рыбацкий поселок Лимановка - поселок, знаменитый скворечнями - и каких только их там не было: скворечни-терема, скворечни-корабли, скворечни-дирижабли, бочки, сундучки, и все это сверкает и плавно поворачивается на ветру - да паусной икрой, да ватагами парней, совершавших разбойные набеги на город.

Весь лиман у поселка заляпан смолистыми пятнами каюков, весь берег в паутине сохнувших сетей. Только в разгар путины пустеет лиман. И берег пустеет. Вдуют просмоленные паруса каюки и черными птицами уносятся к горизонту. И чайки над ними кричат. И смотрят им вслед сухие глаза рыбаков. Только бы не шторм, не злой верхняк, только бы не считать слетающиеся к дому паруса...

Вернулись рыбаки, сдали добытое на рыбозавод, утаив для себя немалую толику, и - гуляй, Лимановка! Пей, Лимановка! Маши порепанными от соли кулаками!.. А завтра, коль погода позволит, снова в море, подставляя под влажный целительный ветер сумные изболевшиеся головы.

Но молодым, холостым лимановцам одна лишь пьянка - не потеха. Им бы поватажить.

Лимановские ватаги, как люди, имели каждая свой коров, свое имя, свою судьбу. Поселковые старожилы помнили Гуляеву ватагу, ватаги Петьки Красавчика, Старовойта, Степки Блокета.

Самой беззлобной и веселой была ватага Митьки Гуляя. Она прославилась не драками, а шутками, над которыми хохотали весь город и вся Лимановка. Однажды ночью уворовала у частных домов десятка полтора деревянных еортиров и выстроила рядком на Первомайской площади, снабдив размашистым

плакатом: "Даешь сплошную сортиризацию!". В другой раз устроила торжественные похороны кобеля. С траурной процессией, с гармошечной унылой музыкой и венками из обглоданных костей.

Самым свирепым нравом отличалась ватага Петьки Красавчика. Ее почти всю, вместе с вожаком, посадили за групповое изнасилование.

Самой последней была ватага Вольки Баклана.

Собирается ватага обычно у Волькиного дома. Он сидит на скамейке, нога за ногу, и низко пригнув голову к гитаре, лениво перебирает струны. А вокруг него в густеющей тьме - красные глазки папирос, негромкий перевитый матом говорок или нестройное пенье:

*...А как у нас, на родине Кубани
Вишневый сад расцвел, шо белый дым...*

Волька пружинисто поднимается и, ни на кого не глядя, только как-то по-особому многозначительно качнув плечами и исторгнув из гитары резкий многоголосый вой, направляется к городу. За ним - вся ватага.

Идут, мегут ракушку клещами. Каждый в "мичманке", у каждого чуб до брови, у каждого в распахнутом вороте рыбой треугольник тельняшки. Дочерна загорелые, на ветру продубленные, сильные, хмельные, бедокуристые.

И начинается буза.

...В терпеливую вежливую очередь перед кассой кинотеатра "Радуга" штопором ввинчивается курносый шкет в "мичманке" и становится впереди высокого симпатичного парня в ослепительно белой сорочке. Да еще и оборачивается, еще и поддразнивает наглами взглядами.

Парень простодушно улыбается.

- Ты куда без очереди?

- А то шо? - задирнато вскидывает шкет подбородок.

- А вот шо, - усмехается парень. И небрежным толчком вышвыривает его из очереди.

Тот сразу по-кошачьи ощеряется и начинает плаксиво гудеть:

- Ты шо, гад, иделамшь?.. Нагнись, падла, я тебе рога сверну!

И в этот момент из густой тени кленов, затопившей Стрелецкий переулок, на который смотрит боязливый полумесяц клессы, высовываются лаковые козырьки.

- Ты шо смалился? Ты шо над пацаном фраеришься, в рот тебе телипата. А ну, Кусок, врежь ему по сусалам!

"Лимановка"... "Лимановка"... "Лимановка"... - ветром шелестит по очереди. И втягиваются головы в плечи. И взоры

всех с фальшивым интересом впиваются в кассовое окно. И гнутся пугливо зазябшие спины.

Парень бледнеет, пьтится к стене. Парень готов бежать. Но его уже хватают, тянут за руки, за ворот рубахи, за волосы. И волокут в черную жуткую темень. И в этой темноте начинает дико звенеть гитара, взрываются торжествующие голоса:

И получается...

И получается...

И получается супер-фос-фат!..

И ничего не слышно, кроме звона гитары и этого пения. "А может, и почему слышаться?" - успокаивает себя кладбищенски тихая очередь.

Потом звон гитары и пение удаляются, затихают. По толпе пробегает говорок, кто-то осмеливается войти в гущу кленовой тени, вскрикивает, на вскрик сбегаются другие... И приносят то, что недавно было красивым парнем в любовно выглаженной материнскими руками белоснежной сорочке. Лицо - багрово-сияя маска. Из распухшего носа и разбитого рта сочится густая кровавая юшка. Вместо сорочки - землистые клочья... Он сидит в пыли у ног отважно негодующей очереди, а где-то уже далеко, у горпарка замирают последние залихватские аккорды гитары.

В горпарке - темными шпалерами плотные кусты сирени. Под кустами - лавочки. На лавочках влюбленные. Тихий шепот. Тихий смех. Тихие поцелуи.

С перекрестков аллей, с долговязых ажурных мачт голыми лампочками близоруко вглядываются во тьму фонари. На площадке аттракционов, ржаво подвывая, мечутся качели. На танцплощадке духачи прилежно вырисовывают "Осенний сон". И галантно шаркают водонвы. И носится неумолчный гул возбужденных, вкрадчивых, кокетливых голосов.

Опытные влюбленные приходят в парк засветло. Чтобы занять скамеечку на Второй Аллее. Она действительно вторая - от северной ограды. На ней самые высокие и густые кусты, на ней только два, по краям, фонаря (есть еще и третий - посредине, но у него всегда разбита лампочка), а потому - на ней самая густая тьма и самое уютное уединение. Но уединяться на этой аллее небезопасно.

...Впереди ватаги идет Кусок. Идет и дерзко вглядывается в уютную тьму скамеек. Иногда останавливается и пускает шара:

- Ты, дай закурить!

Важно не то, как поступит сидящий на скамейке парень - даст или не даст закурить. Все зависит от того, как поведет себя Баклан. Если только царапнет взглядом через плечо притихшую парочку и пойдет дальше, Кусок, с папиросой или без нее,

побежит обгонять ватагу. Если же остановится, если взвоют и тут же удушенно смолкнут струны гитары, быть бузе.

Что руководит Бакланом? По каким признакам выбирает он жертву? Спроси - не ответит. Не поглянулся, мол, фраер - и все. А секрет был не так уж сложен. Баклан не любил счастливых. Если у парня красивая девушка, если он модно, по "фраерски" одет, если он весел и беспечен - вот тут и взвизгивает ревниво Волькина гитара.

Эти двое шли по аллее навстречу ватаге. Свет фонаря рисовал два тоненьких силуэта, словно подвешенных над длинными тенями. Кусок, как охотничий пес на хозяина, вопросительно оглянулся на Баклана. Тот скривил губы в плотоядной улыбке.

Поравнялись. Голова девчонки покоится на бережно неподвижном плече парня, спокойно, задумчиво ее залитое луною голубое лицо. А парень, прижавшись щекой и губами к ее волосам, даже глаза прикрыл, ослепленные счастьем... Но вот он натывается на острые зрачки Баклана, всем существом ощущает быстро сгущающуюся вокруг плотную массу пахнущих потом, табаком и водочным перегаром мускулистых тел и останавливается. Девушка вздрагивает, оглядывает толпу, и в глазах ее стремительно выспевает ужас. Волька нежно трогает струны и мягко говорит:

- Ты, керя, иди... иди... А с девчонкой мы поучим анатомию.

Парень прижимает девушку к себе.

- Никуда я не пойду!

- А может все ж-таки уйдешь? Как-то неудобно при тебе.

Еще мягче, прямо-таки ласкательно уговаривает Баклан, не глядя протягивая гитару в сторону, в чьи-то услужливые руки. И в тот момент, когда пальцы его руки отрываются от грифа, правый кулак снизу, с подсадом впивается парню в солнечное сплетение. Тот со стоном передохлаивается, а Баклан вдогонку обеими руками пригибает его голову и с веселым остервенением бьет коленом в лицо...

Потом окровавленного парня держат за руки и на глазах у него "учат анатомию". Девушка охает испуганно и изумленно, брезгливо корчится под липкими потеками не знающих запрета похотливых лап.

- А-а... Пустите!

Но голос ее не слышен. Его заглушают хорошо поставленный гвалт и ритмичное треньканье гитары.

Назад в поселок лимановцы катятся несколькими улицами, рассыпавшись на мелкие кучки. Это - мера предосторожности. Вдруг милиция поджидает где-то на стреме.

Катятся торопливо, с опасливой настороженностью. И этот страх, эта глубоко запрятанная в шkodливых душах тревога делают их еще пакостливей. Чтобы вспугнуть страх - бьют

потухшие окна, чтобы заглушить тревогу - раскалывают фонари.

Собираются, пересвистываясь, за путями. И уже оттуда несут в свою Лимановку громкоголосый с посвистом рев:

*А как у нас, на родине Кубани
Вишневый сад расцвел, шо белый дым...*

Но бывает, и городские парни не дремлют. Бывает, что любезная лимановцам тьма вдруг набрякнет десятками решительных тел, и сомкнутся они вокруг, как петля удава. Тогда им приходится туго.

- Лимановку бьют! - ликующе несется по вечерним городским улицам, скверам и садам. И ответом на эту весть - как вал нарастающий топот, И все толще петля, все мощнее ее костеломные объятия.

Привычные ко всяким переделкам лимановцы в панику не впадают. Мгновенно расстегивают свои широкие флотские ремни с тяжелыми латунными бляхами, работая ими, как кистенями, рассекают петлю и - марш! марш! - в родную Лимановку, зная, что туда за ними не побегут: там, бывало, и ружья палили из тьмы. И не было случая, чтобы не пробились. Правда, обходилось это порою недешево - кто-то на нож налетит, кого-то изувечат кастетом или стальным прутом.

Милиция тоже не всегда опаздывала на лимановскую бузу. Поэтому у доброй половины ватажников были приводы и судимости, короткие и долгие отсидки. И все-таки ватага не рассыпалась, не смирялся ее разбойный нрав. И не иссякала ее страстная ненависть к городу. По давней слободской традиции она ненавидела его за все то, чем он отличался от Лимановки. За то, что в нем жили тонкие и красивые девушки - почти такие, как в кино, - и "фраера", носившие белые брюки и белые парусиновые туфли, галстуки и футболки со шнурками. За то, что в городе были роскошные фонари, а в Лимановке даже оконный свет душился толстыми ставнями. За катки, стадионы, тир и рестораны.

Эта ненависть была родной сестрой зависти, а прикидывалась презрением. Скажите-ка гордому лимановцу, что он и сам мечтает в белых "шкерах" с городской "шмарой" по горпарку прошвырнуться или на лавочке посидеть - он лишь брезгливо сплюнет в ответ да матом вас покроет. Но не верьте ему. Он и сам не знает, как кружит ему голову блеск городских огней, как волчьим влечется он на соблазнительные запахи чужой незнакомой жизни.

Была, однако, твердая закономерность: отслужив в армии, лимановцы с ватагами больше не являлись. Они со степенным рвением брались за рыбацкие дела, женились, строились, откармливали гусей на продажу. Бывали и такие, что, получив в

армии какую-нибудь техническую специальность, устраивались работать в городе.

Только у Вольки вышло коряво. Ему полагалось идти в армию осенью сорокового года. Но перед самым призывом заболел желтухой и получил отсрочку. Погодки ушли, в ватаге осталась одна мелюзга, и Баклан к ней сильно охладел. Ему вдруг стало больше нравиться одному шататься по городу и заново, без прежнего злобного ослепления внимательно разглядывать его пеструю жизнь. Возможно, он и вовсе бы остепенился, и последняя предвоенная лимановская ватага не связывалась бы с его именем. Помешал нелепый случай.

Однажды на исходе знойного летнего дня, бесцельно слоняясь по городу, он забрел на спортплощадку физкультурного техникума. Поджарые загорелые парни в коротких, по-брючному заглаженных трусах играли в баскетбол.

Волька увидел эту игру впервые. И оторопел. И уже глаз не мог отвести от площадки. Из всех людских качеств он больше всего уважал ловкость и силу, а тут они предстали перед ним в невиданном блеске. Казалось, это не игра, а какой-то вихревой замысловатый танец. Особенно поразило его один игрок. Долговязый, сутулый, широко, словно орловский рысак, разбрасывавший в стороны огромные плоские ступни, расслабленно волочивший на бегу худые длинные руки, он должен был выглядеть смешно - да так, вероятно, и выглядел вне баскетбольной площадки, - но на ней творил чудеса. Мяч словно прилипал к его широким ладоням, а затем пулей перелетал точно в руки другому игроку или картинно, будто на миг замерев в раздумье, повисал над корзиной, чтобы потом без промаха в нее нырнуть. Он бегал, пожалуй, медленнее всех, но всегда оказывался в самой гуще схватки и решающе влиял на ее исход.

Увлеченный зрелищем Баклан почувствовал во всем теле острый зуд нетерпения и представил себя там, на площадке. Вот он крадчиво, затаив готовность к рывку, перебегает с места на место, вот хитро перехватывает мяч у соперников и - раз! - в невесомом красивом подскоке посылает его в корзину. У парней получалось все так просто и легко, что казалось, это и впрямь никакого труда не представляет.

Один из игроков упал, сильно ссадил колено и похрамал к скамейке. Игра расстроилась. Долговязый оглянулся вокруг, но никого, кроме Баклана и маленьких пацанят, не увидел. Что-то в глазах Вольки привлекло его внимание.

- Играешь? - спросил он.

Волька было отрицательно мотнул головой, но тут же вскочил со скамейки и принялся с трясучей торопливостью раздеваться. Когда из брюк вынырнули его длинные флотские трусы черного сатина, по губам игроков скользнули улыбки.

- Вон к тому щиту беги, - сказал долговязый. - А бросать сюда будешь.

И началось осрамление Баклана.

Наблюдая за игрой, он как-то не думал о правилах. И теперь вытворял на площадке что-то невообразимое. То схватит мяч и, прижав к животу, - отнимите-ка, мол, фраера, - бежит с ним к самому неприятельскому щиту. То окольцует игрока вокруг туловища руками и так крутанет, что тот по параболе вылетает с площадки. Попробовав гнать мяч, как другие, - ударяя о землю, запнулся о него и проехал на животе. При первом же броске по кольцу послал мяч метра на три выше щита. И вообще мяч почему-то его совершенно не слушался - все время выскальзывал из рук, летел совсем не туда, куда надо. Ребята не столько играли, сколько покатывались от хохота, глядя на Волькины проделки.

Кончилось тем, что он, ухватив одного игрока сзади за трусы, расплосовал их до промежья.

- Иди-ка ты знаешь куда... гладиатор, - всерьез сказал ему долговязый. - Да не запутайся в трусах!

Долго потом вечерами искал его Волька с ватагой по всему городу. И конечно, рано или поздно нашел бы, себе и парню на беду. Но тут к нему пришла любовь. Не та, которую охотно дарили податливые лимановские девчата. Другая - незнакомая и оглушительная...

Стоящий на якоре каюк вяло покачивается на мелкой зыби. Внизу гудно перекатывается подстланевая вода. Хлюп-буль-буль... Хлюп-буль-буль...

Волька лежит на носу какюка лицом к солнцу, свесив за борт ногу с примотанной к большому пальцу бечевкой "посуды". Жадная поклевка бычка или осторожная потяжка окуня отдадутся током во всем теле. Это надежнее, чем береговая ловля с колокольцами.

Волька разомлел. До синевы прокопченное тело налилось истомой, веки набрякли дремой. В голове ни единой мысли - какая-то горячая пустота, в которой перекатывается неумолчное хлюп-буль-буль, хлюп-буль-буль...

- Эй, рыбак! - услышался вдруг совсем рядом светлый девичий голос. - Так вы не много наловите.

Волька вздрогнул, приподнялся. На корме стояла, улыбаясь, тоненькая девушка лет девятнадцати в черном купальнике. Некоторое время он сквозь сонную одурь разглядывал ее необыкновенно чистые, словно на блюде нарисованные, серые глаза, потом сел, провел рукой по взмокшим от пота бровям.

- Ты откуда взялась?

- А что, нельзя?

- Ты с Лимановки?

- Да.

- Не брешь. Таких у нас нет.

- Каких "таких"? Я только вчера приехала.

- Так бы и сказала. К кому?

- Сколько вопросов! Ну, скажем, к бабушке. Феодосью Трофимовну Бутову знаете?

- Трофимовну?... Пестой-пестой... Так ты шо - Павла Бутова дочка?

Теперь все было ясно. Лет двенадцать назад, неожиданно для всех рыбацкий бригадир Павел Бутов с женой и дочкой уехал в Ленинград и со временем, как говорили, стал там большим флотским или рыбацким начальником. С тех пор его больше не видели. Даже на похороны отца не приехал - сказывали, был в плавании. Мать его жила одна в низеньком саманном домике, строптиво выбежавшем из общего порядка на самый берег лимана. Стило задуть верхвяку, волны подкатывали к самому ее забору. Была молва, что Трофимовна собиралась перебраться к сыну, но съездила на разведку, рассорилась с невесткой и больше в Ленинград не порывается.

- Понятно, - сказал Волька, принимаясь сматывать леску.

- Ну, как батька? Плавает?

- Плавает... Вы Баклан?

- А ты почему знаешь?

- Догадаться нетрудно, - засмеялась девушка. - Бабуля мне вас очень точно описала.

- Это на шо?

- На то, чтобы я за три версты вас стороной обходила.

- Шо ж не общля?

- Интересно...

- Ницца интерес. Чи я тебе крокодил из зверинца?

- Крокодил - это что... Послушать бабушку, так вы куда страшнее крокодила.

Волька оглядел ртутно сверкающее безлюдье. На берегу, ливаленном в этом месте гранитными булыгами, тоже не было видно ни души. На узкой кромке песка неярко голубело оставленное девушкой платье.

- Может, и страшнее, - криво усмехнулся он. - Тебя как зовут?

- Ира. А знаете, глаза у вас... Не верится, что вы...

- Крокодил?

Девушка рассмеялась.

- Между прочим, в зоопарке я всегда смотрю только на самых свирепых зверей. Смирные не интересны, всякие там олени, антилопы...

Она села на банку, свободно закинув ногу за ногу, и стала так близко, что Баклан мог разглядеть на нежном ее загаре

золотом вспыхивавшие под солнцем выгоревшие волоски. У него пересохло во рту.

- Вы каждый день здесь рыбачите?

- А шо?

- Можно и я с вами?

- Дк я... Это я сегодня так, у берега, а то под Кирсановку ухожу, там рыбец здорово клюет.

- А на чем вы туда плаваете, на этом баркасе?

- На этом, на том... Только это не баркас, а каюк.

- Смешное название. И мрачное. Каюк - это же гибель, конец. Так берете меня в компанию?

- А не боишься?

- Кого? Бабушки? Она и знать не будет.

С берега долетел протяжный вибрирующий зов:

- И-и-ра-а-а!..

Кособоко взгромоздясь на валуны, Трофимовна истоиво мотала рукой над головой.

- Бабушка, - улыбнулась девушка. - И здесь меня нашла. Заходите вечером, если иных планов нет.

- Куда? К Трофимовне? Да она на меня спустит всех собак и кошек с петухами.

- Не спустит. Заходите, - с многозначительной настойчивостью повторила девушка. И с этими словами легким, гимнастически эффективным махом передетела через борт.

Уже желтовато-серые сумерки перекрасились в густую вечернюю синеву, уже умерли над лиманом дневные быстрые ветры и бодрый говор волн сменился сонным шепотом, а Волька все сидел на своем крыльце, не зная, на что решиться. От странного разговора с бесстрашной девушкой в душе осталось непроходящее тревожное ощущение. Что-то пузырилось и пенилось в ней, а что - не понять...

Звякнула калитка. Пришел долговязый Лешка Шепитько по прозвищу Фитиль. Неделю назад он неожиданно вернулся из армии по комвсски: вроде какую-то желудочную болезнь у него обнаружил. Выглядел он франтом: голубая шелковая сорочка, темно-синие шевиотовые брюки, подпоясанные тонким ремешком, белые парусиновые туфли, непокрытая голова. Он, единственный из лимановских парней, позволял себе одеваться "по-фраерски".

- Вынеси гитару, - попросил он, подсаживаясь к Вольке.

- Возьми сам, - кивнул тот на дверь.

Выйдя с гитарой, Фитиль подошел к Вольке, старательно подвернув брюки, чтоб не пузырились, тронул струны и тут же их придушил.

- А знаешь, Волик, мне весь этот шухер порядком надоел. Я

больше не люблю шума, не хочу никакой бузы. Мне опротивело наше вонючее кодро. Я желаю, чтобы все тихо и культурно. Чтобы меня красивые городские девочки любили. Чтобы они плакали и шептали "не надо", а сами помогали нужную пуговичку расстегнуть.

Он пробежал пальцами по струнам и запел:

Девушки, не надо...

Девушки, не надо...

Девушки, не надо на парней глядеть.

От такого взгляда...

От такого взгляда...

Можно очень, очень, очень сильно похудеть...

Прервав пение, спросил:

- К Трофимовне внучка приехала, слышал?

- Слышал, - безразлично отозвался Баклан.

Фитиль удовлетворенно кивнул и запел дальше:

Девушки, не надо...

Девушки, не надо...

Девушки, не надо думать про любовь.

Это не отрада.

Это, как отравка,

Портит сердце, портит нервы, портит кровь...

- Товарёц что надо. Не чета нашим бутылконогим. Интересно, как оно у образованных...

- Что?

Вместо ответа Лешка снова затенорил:

Девушки, не надо...

Девушки, не надо...

И рванул струны.

- Эх-х, займусь я, кажись, этой красючкой!

- Не займешься, - тихо сказал Баклан.

- Почему? - вскинул брови Фитиль.

Волька молча поднялся и неторопливо пошел к калитке.

Ирина вышла по первому стуку - будто ждала. Сияющая, благоуханная, в зеленом платье тяжелого шелка, на котором огненно рдели красные цветы, стала перед Волькой и с легким вздохом приподняла и опустила руки: вот такая, мол, я...

- Куда пойдём?

Волька топтался перед нею в своих порыжелых флотских брюках с отпузыренными коленями, в застиранной рубахе и в мичманке с пожелтевшим некогда белым чехлом, и чувствовал себя примерно так же, как шелудивый дворовый пес, принюхивающийся к холеной сучке чистых кровей.

- Куды хошь, - грубовато сказал он и жадно схватился за папиросу.

- Пошли они! - отмахнулся Баклан. - Одни дураки забавляются - слово к слову складно прикладывают, а другие дураки читают. Тот чистюля бригадир, про которого я говорил, когда получил новую спецуру, на радостях написал в нашу артельную газету такой стишок:

*Получил я на базе
Двенадцать мешков
Различной материи
И разных штанов,
Разных штанов
И различной материи.
Спасибо правлению
И булгахтерии...*

Ира смеялась долго.

- Ну и память у тебя!

- У меня память - как влезет шо, не выколотишь.

Разговоры Вольке порядком надоели. Они вызывали в нем раздражение и презрительное недовольство собой. И все-таки он не решался на нахальные действия - впервые опасался все разом испортить и потерять.

Возвращались за полночь.

На нижней ступеньке лестницы, ведущий вверх на обрыв, маячили два подсиненных луной мужских силуэта. Один из них двинулся к Вольке.

- Закурить найдется?

- Если Баклан даст закурить, - небрежно покосился на него Волька, - дым пускать будешь на кладбище.

Парень отшатнулся.

- Баклан?

В тот же миг оба - как испарились.

- Вот почему здесь так безлюдно по вечерам, - догадалась Ирина. - А почему они тебя так испугались?

- Я Баклан, - не без гордости ответил Волька.

Весь свой отпуск Волька проводил теперь с Ириной. Ловили рыбу посудой и удочками, драли в прибрежных камнях угольно черных бычков-кочегаров, загорали, бродили под обрывом, катались на каюке. Мало-помалу ее мудреные речи перестали вызывать у Вольки раздражение. Пусть говорит, что хочет, только была бы рядом, только б хмелила голову и обжигала душу ее нездешняя красота. Дружки лимановцы, подзуживаемые Фитилем, раз-другой попытались составить ему компанию, но он эти попытки пресек в зародыше.

Однажды мать, по наущению Трофимовны, повела с Волькой несмелый разговор о том, что, дескать, девка совсем еще молодая, непорченная, если чего неладного произойдет, большое

неудобство и перед поселковыми, и перед Павлом Бутовым получится, но, напорвшись на его пасмурное молчание, затихла и больше не начинала таких речей. Легко представить, как внучку Трофимовна обрабатывала, сколько черной краски пошло у нее на Волькин портрет. Но тоже ничего не добилась. Лишь еще пуще разожгла в девчонке рискованный интерес к Баклану.

Они не могли бы объяснить, почему им хорошо вдвоем. Хорошо говорить, несмотря на то, что почти каждый разговор переходит в спор, в котором они никогда не могут прийти к согласию. Хорошо молчать, хоть и в молчании они думали о разном. Они все время настороженно ждали чего-то друг от друга. Наверное, слов, которые бы все объяснили... Но если бы они нашли эти слова, то, удивившись их немоги, поняли бы, что все это пустое. Не надо ничего объяснять. Это необъяснимо. Что-то пришло, как дождь, как ветер, как гроза. Пришло - и все. Разве ветру нужны объяснения?

Больше всего они любили вместе плавать. Заплывали обычно так далеко, что берег, прижимаясь к горизонту, превращался в узкую желтоватую ленту, и тихий плеск воды заглушал все голоса земли. Затем ложились на спину, глазами в небо, и подолгу цедили сквозь сомкнутые веки белое пламя солнца.

Однажды, когда они подплывали уже к прибрежному мелководью, ногу девушки схватила судорога. Волька помог ей доплыть, а потом понес на руках. И прежде чем опустить на горячий песок, властно прижал к себе и поцеловал в холодные твердые губы. Ирина шукой выскользнула из его рук и, отвернувшись, замотала головой.

- Не надо...

В этот вечер она была необычно грустна.

По поселку суетливо носился ветер. Черное клубящееся небо грозило дождем. Тревожно шуршала над головами листва тополей. Ржаво скрипела чья-то калитка. Неподалеку от скамейки, на которой сидели Волька с Ириной, за забором тоскливо валивала собака. И ни души вокруг. И пустынно так, как бывает только на улицах в непогоду.

Долго молчали. Волька по обыкновению безостановочно курил. Ирина, понурясь, чертила ногой по песку.

- Ты, конечно, догадываешься, - наконец заговорила она, - у меня есть друг. Там, в Ленинграде.

Волька выпустил через нос густую струю дыма.

- Он хороший парень. По-настоящему хороший...

У Вольки выступили на скулах желваки.

- Может, даже слишком хороший, - с трудом продолжала Ирина, словно взбираясь на крутую гору. - Да-да, не удивляйся. После того разговора с тобой я поняла, чего мне всегда в нем не

хватало. Непредсказуемости. Наверно, мне хотелось, чтобы он хоть раз совершил поступок, который... который... Ну, словом, что-нибудь необычное, не соответствующее нормам утонченных приличий. Кому-нибудь надерзил, кому-нибудь дал по физиономии... Не знаю... Он такой правильный, что я заранее могу совершенно точно сказать, как он поступит в том или ином случае. Он всегда поступает "как положено". А это, знаешь ли, скучно... Я, наверное, очень путано и непонятно говорю?

- Валяй, - желчно сказал Волька, выстрелив окурком вдоль улицы. - Чего ж тут не понять. Одно скажи, откуда твой фраер всегда наперед знает, как положено делать?

- Ну, это... Видишь ли, Игорь очень хорошо воспитан... Он из такой семьи...

- Я не об том. Вот, к примеру, послала меня мать в город на базар, купить меду. Я купил. Принес домой, а мать попробовала и говорит, шо это не мед, а подделка - патока, сахар, чай - не знаю, шо еще. Знаю только - мать в таком деле не ошибется. Как "полагалось" мне сделать? В милицию заявить? Там с этим делом связываться не станут. Да и я с милицией делов иметь не хочу. Попробовать возвернуть этот мед торговке? Так это така бабища, шо от нее впятером не отбрешешься.

- И что же ты сделал? - заинтересовалась Ирина.

- Шо... Разыскал ту торговку и вылил этот "мед" ей на голову. А пока она орала дурным голосом, все остальные банки и черепки у нее перебил. И напоследок сказал: "Если ты, сладкая сука, еще раз с этим дерьмом появишься на базаре..." Ну, в общем, шо надо, сказал...

- Как же ты милиции не побоялся? - сквозь смех спросила Ирина.

- Э, милиция, - небрежно отмахнулся Баклан. - Чего ж она, эта милиция, позволяет людей охмурять?

Где-то вдалеке глухо прокартавил гром. Запахло дождем и мокрой пылью.

Ирина поежилась.

- Надо идти. А то как хлынет...

Прощаясь, она необычно долго продержала Волькину руку в своей и с трудно дававшейся твердостью сказала:

- И все-таки... Ты ведь понимаешь, зачем я тебе все это рассказала? Мы с тобой можем быть только друзьями... Есть другой. Что бы там ни было, он... Нам очень многое с ним связывает.

- Понятно, - сказал Волька. - Но по мне так: или все, или

ничего. Я не тот гость, которого дальше сеней не пускают.

И, круто повернувшись, зашагал прочь с гневно вздернутыми плечами.

Волька не умел подолгу вслушиваться в стоны своей души. Он лечил ее раны едким бальзамом озлобления. Порвав с Ириной, он, казалось, тут же о ней забыл. И почувствовал даже какое-то облегчение. Больше не надо было что-то мудреное плести из непокорных прядей разлохмаченных мыслей, ревниво сравнивать свою жизнь с какой-то иной, натужно стараться не выглядеть дураком и мучаться от необычной нерешительности. Дышалось вольно и привычно.

Мать и радовалась - кажись, по-доброму с девкой развязался, без греха, - и тревожилась - как бы всердцах большую шканду не натворил - такое за ним водилось. Наконец собралась с духом, спросила:

- Ты с Ирккой рассобачился, чи шо?

- А я к ней и не присобачивался! - огрызнулся Волька.

У Ирины было все иначе. Сначала разрыв вызвал в ней только досаду. Словно смотрела какой-то интересный фильм, и вдруг лента порвалась, в зал дали свет, и зрителям предложили сдать билеты. Потом досада улеглась, а гордость стала рьяно изгонять все мысли о Баклане. Она зачастила на танцы и в кино, дни напролет загорала среди многолюдья центрального городского пляжа. Бывало и так, что с танцев ее кто-нибудь провожал. Но только до железной дороги. Дальше начиналась Лимановка, опасная заповедная страна.

Эти провожания вместо того, чтобы окончательно развеять мысли о Вольке, кропили их живою водой. Не из-за робости кавалеров. Зная Лимановку, она могла их понять и простить. Дело было в ином. В ее воображении Баклан парил над ними как врубелевский Демон над сонмом румяноликих красавчиков с лубочных картинок.

Она поняла, что в полный разрыв с ним не верит, не хочет верить, и все эти дни живет в тайном ожидании примирения. Но каким оно может быть, если Баклана не устраивает положение гостя, которого дальше сеней не пускают?..

Над улицами поселка висела розовая скука предвечерья.

Волька, стоя в одних трусах, гладил паровым утюгом свои новые, дня три назад выкупленные у портного шевиотовые брюки. Мать в свинарнике возилась с довольно похрахтывающим кабаном. Отчим потел в затычном послеобеденном сне.

Лишь только бренькнула щеколда калитки, Вольку обожг-

до предчувствие. Он тут же понял, что значит легкий хруст шагов по песку, удивленное кудахтанье матери и растерянная одышка, утяжелившая ее бег по приступкам крыльца.

- Волька, слухай, там Ирка Бутиха пришла, - таинственно зашептала мать. И в глазах ее клубилась текучая смесь удивления, любопытства и тревоги.

Волька помедлил, будто не желая расставаться с уютгом, и как был - в одних трусах - двинулся к двери.

- Да ты шо, у такой хворме - к девке! - ужаснулась мать. - Хоть портки надень.

Ирина была в том самом голубом сарафане, в котором Волька увидел ее впервые - там, на лиманном берегу. Пока он спускался с крыльца, она со слезами смущения подбирала к лицу подходящую маску. И преодолевая дрожание губ, заговорила со старательной простотой.

- Володя, ты не занят? - Я купила билеты в кино. Пойдем?

"Катись-ка ты со своим кино!" - мстительно прозвенело в Волькином сознании. И привиделось, как сползла с ее губ деланно простецкая улыбка, как выбрызгнули из глаз жгучие слезы унижения и как, вздернув плечиком, она пошла - нет, спотыкаясь, побежала к калитке.

Но едва все это вообразив, Волька тут же испугался, что даже затянувшееся молчание может ее вспугнуть, и с невольной торопливостью сказал:

- Посиди на приступках. Я оденусь.

После кино они пошли в заброшенный сад. Когда-то на этом месте был поросший лебедой и полынью огромный пыльный пустырь, среди которого стоял памятник расстрелянным героям гражданской войны. Потом городские власти решили, что негоже памятнику стоять среди такого безобразия и надумали разбить вокруг него шикарный парк. Посадили деревья, расчистили и разровняли аллеи да на том и остыли. Деревья росли, на невнимание не обижаясь. Аллеи зарастали травой. Днем в саду паслись коровы и козы. Вечерами сюда забирались самые отважные парочки.

... Они сидели на теплом граните памятника в крошечной темноте. Тишина стояла такая, что было слышно, как потрескивает, разгораясь, Волькина папироса. И в эту тишину монотонно струнлись трудные признания Ирины.

- Не знаю, зачем я тебе все это говорила... То есть говорила правильно. Поэтому ты и сам мог догадаться об истинном моем отношении к нему... Ты и догадался, правда?

Волька смолчал.

- Но, понимаешь... Мы с ним друг друга знаем еще по школе. Привыкли быть вместе. Привыкли думать, что будем вместе всегда. И все наши родные и знакомые привыкли так считать. Это как во сне: хочешь убежать, а ноги не повинуют-

ся... Хуже всего, что я ни себе, ни другим не могла бы объяснить, чем он мне не нравится. Не скажешь же: "Он слишком хороший". Да я по-настоящему и не знала, что он мне не совсем по душе. Только теперь вдруг ясно поняла.

- А пошел он, твой фраер, знаешь куда! - возмутился Волька.
- Шо ты обратно все о нем да о нем!..

- Не буду, не буду, - Ирина шутливо прикрыла ладонью рот и прильнула к его плечу.

Возвращались в поселок они с распухшими от поцелуев губами.

Проснулся Волька поздно. Машинально взял со стула папиросы, затянулся и, закрыв глаза, словно кинокадры на монтажном столе стал один за другим высвечивать в памяти эпизоды минувшей ночи. Он заново увидел распахнутые счастьем Ирины глаза, в которых прыгали звезды, ощутил неожиданно сильные объятия ее быстрых рук, услышал срывающийся шепот:

- Ты запомнишь?.. Ты запомнишь эту ночь? Эту ночь тысячи и одного поцелуя?

И в нем воскресло то же чувство, что и тогда, когда уловил эти слова. Они резанули по сердцу, как прощальный свисток паровоза. А почему - он так и не понял.

Теперь, при трезвом свете утра, все было гораздо понятнее. Она упрямо дописала свой рассказ про девушку и хулигана. И поставила точку - вот эту сумасшедшую ночь. Возможно, будут и другие, похожие ночи, будут новые объятия и поцелуи, но они ничего не изменят, потому что все это будет просто долгим прощанием. Все забудется, запомнится только эта первая ночь - "ночь тысячи и одного поцелуя".

Волька вспомнил, что отпуск у него на исходе, а там через несколько дней кончатся и каникулы у Ирины. Она уедет, а он будет ждать осени и призыва в армию. А до той поры - чинить сети и паруса, смолить каюки - готовиться к осенней путеве. А вечерами... Самое страшное - прозрачные предосенние вечера, томные жаждой чего-то неясного, неуловимого, как счастье. От них одно спасенье - водка, звон гитары да ватажная буза.

Мысль о том, что через несколько дней останется один и все пойдет, как прежде, будто никакой Ирины и не было, будто она привиделась во сне, обдала Вольку холодом. Но тут же унеслась, вытесненная другой - совсем уже нестерпимой: она вернется к тому, "хорошему". Ясное дело, вернется! И этому никак не помешать.

Волька поднялся и распахнул окно. Над лиманом парило тихое голубое утро. Оно пахло рыбой, солью, гниющими куширями. У берега с величавым достоинством плавала стая гусей. За

лиманом, казалось, вставая прямо из воды, необычайно ясно были видны залитые солнцем розовые дома раскинувшейся на другом берегу Кирсановки. А чуть левее желтым облаком на горизонте вырисовывался песчаный остров. Некоторое время Волька смотрел на него сузившимися глазами, потом тихо затворил окно и босо пошлепал в сени, к умывальнику.

Часа через полтора он постучал в окно дома Трофимовны. Первой выглянула она сама. Увидев Вольку, ругательно зашевелила губами и даже поднесла к стеклу по-мужски увесистый кулак. Но Ирина тут же оттащила ее от окна и, скрывая удивление, приветливо закивала — сейчас, мол, выйду.

Она появилась в розовом ситцевом халатике — еще заспанная, мягкая, домашняя — и, потянувшись, виновато сказала: — Не выспалась...

Волька с трудом подавил в себе ознобное желание схватить ее в объятия, зарыться лицом в душистую теплоту только что оставленной ею постели.

— Погодка нынче, — хрипло проговорил он. — Я думаю, а не сходить ли нам на остров? Ты ж, кажись, на нем не была?

— Это на какой, что под Кирсановкой?

— Ну да. Я уже и каюк настроил.

— Там красиво?

— Там пляжи — лучше не бывает.

Каюк летел, гордо выпятив парус, полный свежего попутного ветра. За кормой лопотала и пенилась вспоротая вода. Иногда она всплескивала выше борта, осыпая Ирину алмазно сверкающими брызгами.

Некоторое время почти одинаково хорошо были видны выбежавшие на берег лимана погруженные в зеленую пену жерделевых садов саманные домики Кирсановки, усыпанный телами городской пляж и за ним саблей вонзившийся в море правый мол, а прямо по курсу — словно всплывающий из воды песчаный остров.

Когда-то это была песчаная коса, отгораживавшая лиман от моря. Со временем ветры и волны сдули и смыли узкий перешийек. Коса превратилась в остров — пустынный и безлюдный, поросший камышом, заселенный шумными стаями мартинов. Посещали его лишь баркасы, поставлявшие ракушку комби-кормовому заводу, да изредка, когда удавалось подрядить каюк, жадные до экзотики или ищущие уединения курортники.

Прошуршав по песку, каюк остановился, как вздыбленный конь, упершись носом в вылизанный волнами берег тихого голубовато-зеленого заливчика. Вода в нем была такая чистая,

что Ирина видела, как шарахнулись от бортов летучие стайки мальков.

В прозрачную тишину сыпались только сварливые крики мартынов. Их было так много и столько самоуверенности было в их повадках, что неминуемо рождалась мысль: они-то и есть настоящие хозяева острова.

— Как этот остров называется? — спросила Ирина.

— А никак.

— Я бы назвала его — остров Мартынов.

Волька помог ей спрыгнуть на берег и повел вдоль заливчика.

— Гляди, какой пляж. Песок — будто его нарочно очищали и просеивали. А вода... Ты у городских пляжей такую чистую видела? Там на дне глина да глей — потому муть, а здесь, сколько ни иди, — чистый песок. И глубина подходящая. У берега двухлетнему пацану можно купаться, а десяток метров отошел — и взрослому с головкой.

— И вообще здесь чудесно, — с восхищением подхватила Ирина. — Чувствуешь себя Робинзоном. Пойдем туда, в те джунгли, — она показала на заросли камыша, качавшего метелками метрах в пятидесяти от берега.

Отойдя от залива несколько шагов, Волька нагнулся и поднял на ладони маленькое яичко.

— Мартынячье. Их тут видимо-невидимо.

— Прямо на песке? — удивилась Ирина.

— А то где. Тут они сами по себе на солнце и выпевают,

Камыши росли из илистого болотца, знакомо пахшего лиманом. Кое-где оно высохло и растрескалось, в других местах было покрыто тонкой пленкой воды, по которой, как конькобежцы по льду, стремительно скользили какие-то жучки. Ступив в такую лужицу, Ирина охнула — так горяча в ней была вода.

— До чего здесь спокойно и уютно, — сказала она.

— Это сейчас, — усмехнулся Баклан. — А знаешь, шо тут вечерами? Такой лягушачий концерт — одуреть можно. А хуже того — комары. Днем-то они где-то по камышам ховаются, а чуть за вечеряет, жара спадет — как подымутся, как пойдут ливень. И жалятся — шо тебе осы. Они ж тут голодные, злые.

Первый же их заплыв был таким далеким и долгим, что, устало выбредя на берег, Ирина затряслась в жестоком ознобе. Даже у привычного ко всему Вольки судорожно подрагивал подбородок.

— В-в-в... Не могу, — передернула Ирина плечами. — Дай полотенце, обними меня.

— Они сидели, прижавшись друг к другу, прикрытые одним полотенцем. Вокруг — только море и небо, и солнечный свет.

— Я з-знаю, о чем ты думаешь, — преодолевая дрожь, сказала

Ирина. — Ты думаешь, что это — прощанье. Т-так? Ты ведь поэтому и привез меня сюда, правда?

Волька промолчал.

— Правда, — убежденно кивнула Ирина. — Правда. Не знаю... Не люблю загадывать. Жизнь — сложная вещь, и столько в ней всяких неожиданностей!.. Одно знаю — такого в моей жизни больше не будет. Чтобы так интересно и хорошо.

С этими словами она вдруг вскочила на ноги.

— Так не согреться. Давай побегаем? Догоняй!

Они легко неслись у самой кромки берега по сырому, утрамбованному прибоем песку. Из-под ног летели всосавшиеся в песок гальки и крупные ракушки. В ушах звенел встречный ветер. Громко и удивленно кричали мартыны.

— Ты не думай, — подзадоривала Ирина, — у меня разряд!

Догнать ее оказалось действительно не так-то просто. Волька впервые видел такую красивую и резвую побежку. «Эк шпарит — как летит!» — удивился он.

Свернув на песчаный мыс, у которого волны пузырились, гоняли желтую пену и коричневые катышки водорослей, Ирина остановилась.

— Ф-фу, устала. А то бы не догнал!

— Догнал бы, — уверенно сказал Волька. — Но бегаешь ты мирово!

— Да?.. Мирово?.. Мирово, мирово, мирово...

Ирина распахнула руки, склонила голову к плечу и закружилась на месте, выдавливая в песке плоскую воронку, которую тут же заполняла мутная вода. На лице ее замерла полуулыбка, глаза прикрылись порыжевшими от солнца ресницами и все это вместе говорило, кричало, пело: «Ах, как мне хорошо!» Остановившись, она покачнулась от головокружения, невольно схватилась за Волькино плечо и внезапно очутилась в его путающе жестких объятиях.

— Ты что? — забилась она, как птица в сетке. — Пусти же, больно!

Но Волька легко подхватил ее на руки и, хищно прижимая к груди, понес в камыши...

Уступила Ирина неожиданно легко, но без малейших признаков взаимности. А потом, после всего, долго лежала на спине, прикрыв локтем глаза, и по белесым от соли щекам ее, оставляя блестящие коричневые бороздки, бежали слезы.

Больше Волька не слышал от нее ни слова. И сам молчал. Молчал на острове. Молчал в пути. И даже тогда, когда она, спрыгнув с каюка, без оглядки побежала к дому. Он не чувствовал ни радости, ни раскаяния. В душе была пустота. И в эту пустоту — как-кап — каплями падало: «Вот так. Вот и все. Вот и конец...» Он ясно понимал, что это плохой конец. Но если конец, какая разница — плохой он или хороший?..

Дня через два Баклан, сам не зная зачем, постучался к Ирине в окно. На стук выглянула Трофимовна. И замахала руками:

— Нема, нема Иришки... Иды...

Единственный раз он встретил Ирину у продуктового магазина. Она прошла мимо как незнакомая, не пряча строгих, равнодушных глаз. А через несколько дней он получил от нее письмо с ростовским штемпелем: «Эх, Волька, Волька! Так и не смог ты стать и остаться человеком. Зверь в тебе оказался сильнее...»

Трудно сказать, как повлияла бы эта история на Волькино поведение — может, затих бы, потускнел, остепенился и закаптался куда-нибудь на дальние путины — под Темрюк или Керчь, а может, забузил бы пуще прежнего. Но тут началась война.

* * *

Прощаться Баклан не умел. Он стоял, прижавшись спиной к чугунной ограде перрона, и с обычной своей угрюмой усмешкой смотрел на толпу, прибойно плескавшуюся об ощерившиеся теплушки. Все смешались в этой толпе — парни и девчата, мужчины и женщины, старики и старухи, лимановские и городские. Только по мичманкам, с которыми лимановцы не расстались и здесь, их можно было выудить взглядом из клубящегося людского месива. Время от времени кто-нибудь из них подбегал к Баклану и, подмигивая, втихаря показывал поллитровку. Но Волька даже взгляда его не удостоивал.

Мать и отчим тоже не знали, как себя вести, что сказать Вольке напоследок. Стояли возле него — маленькие, жалкие, растерянные. Мать, не мигая, смотрела в неподвижное Волькино лицо, и из глаз ее непрерывно катились мелкие быстрые слезы. Отчим все оглядывался, прислушивался к гвалту, в котором слышались выкрики и плач, жадный торопливый говор и деланно бесшабашный смех.

— Ты вот што, Вова... Ты этого... Ничего-о-о... — говорил он, пытаясь сложить подрагивающие губы в ободряющую улыбку. — Мы германца завсегда били... — И, не находя отклика, снова начинал озираться, нервно подергивать плечом.

Где-то неподалеку раздались иступленные женские рыдания.

— Володенька-а... Как же я буду без тебя?.. У меня же ж ребеночек будет!..

Волька поморщился, искося глянул на мать. Та вдруг стукнулась в грудь ему сухонькими кулачками, закачала на них выскользнувшую из косынки седую голову и тоже зашла в рыдания.

— Камень ты подворотный!.. Горе мое непутевое!.. Ну скажи хоть словечко!

— Ну-ну, мать, ты того... — засморкался, засуетился отчим.
— Нехорошо. Парень на хронт идет, а ты...

— Вова... Вовочка, сынок, — молитвенно поднесла мать к лицу Баклана плавающие в слезах глаза, — вся душа моя по тебе изболелась, все ждала, что потеплеешь ко мне... Неужто так и сгинешь?.. Возвращайся, сынок. Возвращайся!.. Не дай себя убиты!

Баклан дернул кадыком, положил задрожавшую ладонь на ее седую голову. И в этот миг над толпой взлетело:

— По ваго-о-о-нам!

Этот крик утонул в будто вихрем подхваченной, закружившейся, заголосившей толпе. Затем вынырнул снова:

— ... о-онам!

Баклан обхватил стариков за плечи, прижался висками к их вискам, мешая жесткую свою чупрыну с их жидкой сединой, замер на миг, потом резко распрямился и, не оглядываясь больше, широко пошагал к вагону, из которого призывно махали дружки.

Поезд, скрипя и болтаясь, медленно волочился вдоль лимана, по которому катилась мелкая желто-зеленая рябь. Она вздувалась где-то там, у размазанного по небу белесого горизонта и, добежав до берега, бесшумно распадалась, оставляя на текучем песке ошметья липкой пены. Временами берег отдалялся, и поезд со всех сторон обступала степь — голубовато-серая трава, забрызганная какими-то цветами и седыми одуванчиками.

— Все, — вздыхали в вагоне. — Уехали...

Но тут лиман надвигался снова, и снова взгляд растворялся в его блеклых даях, цеплялся за одинокие лодки, за неподвижные фигурки совсем по-довоенному безмятежно стоящих с удочками вдоль берега пацанов. Нет, еще дома.

Только после Степановки, возле белых саманных домишек которой поезд простоял с полчаса, словно раздумывая и собираясь с духом, лиман крутой дугой отъехал влево и больше уже не появлялся. Потянулись кукурузные да пшеничные поля, виноградники, бахчи и огороды. Проехали мимо стада коров. Лениво обмахиваясь хвостами, они строго смотрели вслед поезду кроващимися от укусов паутов глазами. Пасшая их белобрысая девчонка глядела, глядела на ковыляющие мимо вагоны и вдруг прощально подняла тонкую загорелую ручонку.

Волька сидел, привалившись плечом к двери, безвольно поматываясь на каждом толчке. Он все-таки выпил, но хмель не

веселил. В ушах стоял еще последний смятенный вопль вокзала, а на него наслаивались уже вагонный гвалт, колесный перестук и чье-то пение, и чей-то рассудительный говорок:

— Батя сказал, главное дело — считать. Лежишь — считай и бежишь — считай...

Друзья подсунулись было к Вольке с разговорами, но поняв, что он не в духе, отстали и затаили разухабистыми голосами:

Это было дело раннею весной.

Познакомился я с девочкой одной.

Губки бантиком, а глазки — два огня.

Покорила она сердце у меня...

— Ребя-ят, — запротестовал чей-то солидный басок. — Может, на смерть едем, а вы тут пакость разводите.

Но где там. Пытаться урезонить лимановцев — только подливать масла в огонь. Тут заорали даже те, что до этого молчали.

Мировая это девушка была.

Погулять меня с собою позвала...

Не пел лишь Баклан. Никогда не искавший с матерью примирения и не нуждавшийся в нем, сейчас он вдруг пожалел, что оставил ее наедине с неизбывной многолетней болью. В прикрытых глазах его засветилось то розовое утро, когда он зазябшим со сна босоногим мальчонкой выскочил во двор по нужде и увидел на старом топчане подле крыльца незнакомого сухонького мужичонку. Он лежал на боку, по-ребячьи подтянув к животу колени и высоко вздернув остренький подбородок. На лице — умильная сладость и покой. Бесхвостый петух Авдей вскочил на перила над самой головой незнакомца и, покосившись на него желтым бестрепетным оком, нахально заорал во все свое петушиное горло. Но тот и ухом не повел, спал беспробудным сном младенца. И Волькино сердце больно скоготило предчувствие, что этот мужик обосновался в их доме надолго. Может быть, навсегда.

Из летней кухни, которая в этот раз необычно рано задымила кизяком, прибежала странно разволнованная мать. Обхватила Волькину шею подрагивающими руками, увела в дом и зашептала смущенно и просительно:

— Волик, послухай... Этот дяденька будет жить у нас, понял? Он хороший, добрый, непьющий. Его Петром Захарычем зовут. Рыбак, как батя. Ты же ж уже большенький, понимаешь — батю не вернуть...

Волька молча вывернул голову у нее из-под руки.

Ночью накрапывал дождь. Пришлось Петру Захаровичу с матерью спать в той единственной комнате, где и Волька спал. И Волька лежал, уткнувши глаза во тьму, чувствуя себя преданным и одиноким.

Утром он, ни на кого не глядя, снял с этажерки портрет отца, где тот — молодой, крупнозубый — стоит с веслом на берегу лимана, и спрятал в свой сундучок. С тех пор никакими слезами мать не могла приклонить его к себе. А Петр Захарович и не пытался. У этого вообще не жизнь была — сплошная маята. Тихий и смиренный от природы, он так и не научился не теряться в присутствии Вольки, не втягивать голову в плечи. Хоть кроме добра, ничего ему не делал.

Будь отчим покрупнее, посильней, Волька, может быть, со временем и впустил бы его в свою душу, но такой вот — недоморыщ по сравнению с отцом — он вызывал в нем лишь досадливое презрение. И не мог простить матери Волька, что большую и светлую печаль о сгинувшем в море отце, такую, как думал он, нужную им обоим, променяла она на мелкого и тусклого человечка, от которого, если и был какой-то прок, то только ей одной.

Впервые за многие годы на Вольку накатила вдруг такая жалость к матери, что захотелось хоть на миг вернуться назад, приласкать ее так, как никогда не ласкал, отплакаться на ее коленях открытыми детскими слезами, которые так долго иссыхали в нем на постоянно тлеющих углях ожесточения. Вернуться бы, вернуться, — стучало у него в висках под шаткое култыханье вагонов. Вернуться, чтобы все повернуть иначе.

* * *

Письма от Баклана приходили редко, и были они сухими и короткими. Жив-здоров, воюю, целую, привет Петру Захарычу. Но начало их Бакланиха перечитывала по многу раз, потому что были там невиданные и неслышанные ею слова: «Здравствуй, дорогая маманя!...», «Дорогая, — шептала она со светлым изумлением. — Это Волька-то, а?!»

Вся Лимановка жила ожиданием писем. Время измерялось от письма до письма. Но уже к зиме вместо писем стали приходить похоронки, и шли они так густо, словно война пометила Лимановку на своей карте особой метой и задалась целью всех лимановских мужиков под корень извести. К середине сорок второго от Волькиной ватаги в живых оставалось едва полдюжины парней.

Жила Лимановка скучно и скудно. Вечерами царили в ней тьма и тишина. Рыбколхоз, обедневший своей главной мужицкой силой, пробавлялся жидкими уловами, которые давались в немощные руки баб, подростков да стариков, закидывавших сети вблизи родных берегов. Петра Захаровича взяли было на трудовой фронт, но месяца через два он вернулся — худой, зеленый, согнувшийся от язвенной болезни. Похворал, похво-

рал да и помер. Бакланиха жила тем, что чинила сети и брезентовую робу да откармливала гусей на продажу.

В августе город захватили румыны. Полдня они шли и шли за своими зелеными фурами, которые тянули невиданной породы толстоногие битюги. Шли налегке, без оружия, сваленного в повозки, черные, запыленные, с засученными по локти рукавами. Горожане неотрывно следили за ними сквозь жалюзи и щели по-ночному запахнутых ставен.

Пришли и кинулись по домам, вроде бы искать евреев и коммунистов. А вместо этого занялись грабежом. Тащили все, что под руки попадало: шелковые платья, патефоны, шерстяные отрезы, игральные карты, кожаные перчатки, бритвы, галстуки, духи. От дамских пальто с треском отрывали каракулевые воротники. Из подвалов выгребали махотки с маслом и сметаной, уносили кастрюли с компотом.

Полгода город был в оккупации. Но Лимановки она почти не затронула. Ни румыны, ни немцы в нее не совались, и она жила, как жила, своей обычной рыбацкой жизнью. Только хлеба в поселке совсем не стало. Его можно было купить только в городских магазинах, отстояв в очереди чуть ли не сутки. И был это не хлеб, а что-то вроде спрессованных отрубей.

Румыны в городе проквартировали недолго — недели две или три. Их заменили немцы. А в феврале сорок третьего в одну ненастную ночь и их словно ветром сдуло. С неделю в городе было безвластие, а потом пришли наши. Люди бежали к ним по слякотным улицам и тянули руки с махрой, с лепешками и розовыми шматами сала. И солдаты улыбались им утомленными улыбками пресыщенных славой примадонн, а офицеры подставляли изумленным взорам сверкающие погоны.

Наши пришли, а письма от Вольки не приходили. Отцвела сирень, откипела белая акация, отошли черешня и вишня, высохла на крышах курага, посмывало дождями в канавы арбузные корки, закружился снег, выстеклилась тонким льдом желтая кромка лимана, а там и зима прошла, а писем все не было. Встречаясь у водопроводной колонки с долговязой матерью Фитиля, о котором тоже не было ни плохих, ни хороших вестей, Бакланиха уже ни о чем ее не спрашивала: глянет в сухие глаза и опустит голову. Та тоже разговора не начинает — чего зря душу беречь.

Летом сорок четвертого по совету людей Бакланиха с превеликим трудом и муками сочинила письмо в Москву. Ответ пришел месяца через полтора и был такой, что не поймешь — плакать или радоваться: в списках погибших и пропавших без вести Волька не значился.

— Ни мертвый, ни пропавший... Значит живой? — недоумевала Бакланиха. — Так чего ж не пишет?

Мать Фитиля, по примеру Бакланихи написавшая в Москву, получила точно такой ответ. И обрадовалась.

— Живые они, — успокаивала она Бакланиху. — Живые, чуёт моя душа. Вместе они, поняла? Вместе и объявятся.

Знать бы ей, как близка она к истине и какой бедой для нее эта истина обернется!

Кончилась война, вернулись в поселок немногие уцелевшие мужики, а о Вольке и Фитиле — ни слуху, ни духу. Словно и не было никогда их на свете.

Вечерело. В обнимку с ветром качались тополя. Над дворами поднимались сизые дымки — вся Лимановка варила вошедшую тогда в моду абрикосовую пастилу. Было лето сорок шестого.

Бакланиха сидела возле плиты и время от времени помещивала густокоричневое варево. Звякнула калитка. Пират, лениво потягиваясь, вылез из конуры и неуверенно гавкнул. От калитки шла молодая красивая женщина в розовом пляжном халате. Бакланиха узнала ее сразу. Не по лицу, не по походке или фигуре. Сердцем узнала. Сердцем, которое ждало ее давным-давно.

И забегала, заметалась.

— Ириша, дитятко... Жива?... Не сгибла в голодуху?... Посиди на приступках, я щас...

Она поставила таз на табурет, накрыла полотенцем и, схватив Ирину за руку, поволокла в прохладную темень хаты, усадила за стол, села напротив и смотрела, смотрела во все глаза, струя по морщинам слезы.

— Ну что вы... Не надо, — растерянно бормотала Ирина.

— Выжила, значит... Или ты вакуиралась?

— Нет, оставалась.

— Усю блокаду?

— Всю. До конца.

— Отец живой?

— Погиб.

— А мать?

— Мама жива.

— А я тебя вспоминала, все у Трофимовны хотела спросить про тебя да не насмелилась. Как ты тогда уехала, Трофимовна в мою сторону не глядит, и ни «здравствуйте», ни «до свидания». А чего серчает? В чем я-то виновата?

Много хотела сказать Ирине Бакланиха, да слов не могла подобрать. Да и не знала она толком, что надо сказать, как понять все клубившееся в ее душе, искавшее и не находившее выхода. А дело было не только в том, что Волька сгинул и не объявляется. Главной тяготой, гнущей ее к земле, погружавшей

в черное уныние было то, что на всем белом свете одна она, Бакланиха, знавшая сына с той поры, когда он был еще таким же, как все младенцы, писклявым сосунком, вспоминает его и жалеет. Другие же, если и вспомнят о нем, то только, как об урке, ватажном короле. А помрет она — и вовсе ни в ком доброй памяти о Вольке не останется. Вот почему нет-нет да и приплывала к ней из тумана забвения Ирина, еще одна душа, которая знает о Вольке что-то иное, чем все. О том, что Ирина вряд ли может добром его помянуть, почему-то не думалось.

— Никто ни в чем не виноват, — сказала Ирина. — Вы когда от Володи последнее письмо получили?

— Летом... Где-то в июне сорок второго... А что?

— Я тоже от него получила письмо, — спокойно сказала Ирина и вынула из кармана затертый треугольник.

У Бакланихи остановились глаза.

— Так он шо, писал тебе? У Ленинград? И доходили?

— Может, и писал... А дошло вот только одно.

Письмо было датировано девятым сентября сорок первого года.

«Здравствуй, Ира! — писал Баклан, на удивление грамотно. Видно, по этой части кто-то ему крепко помог. — Не удивляйся за это письмо и извиняй за ошибки. Может, ты не станешь его читать, а сразу порвешь, но все равно я решил написать, потому как много думал про нас с тобой и особенно про себя и про всю свою неправильную жизнь. Сейчас конечное дело война и про всякое такое думать не приходится, но если меня убьют, то ты знай, что я хотел с тобой не просто так, а по-настоящему, только лучше бы ты мне за своего ленинградского фраера не рассказывала. А если останусь живой, то приеду к тебе в Ленинград и пойду учиться, и всю свою жизнь на новый галс переложу, только ты того своего фраера отшей — все равно ты его не любишь, а любишь меня. А как я тебя люблю, про то никакими словами не скажешь. Не придумали еще таких слов.

Воюю я нормально. Лейтенант Бастриков хвалит. За «языка» (это так выкраденных из окопов фрицев называют) медаль «За отвагу» получил. Фитиль со мной в одном взводе, за остальных лимановских ничего не знаю.

До свидания. А может, прощай. В. Бакланов.»

— Значит, он точно был с Фитилем, — сказала Бакланиха. — И вместе сгинули. А где он адрес твой взял?

— Не знаю. Для самой загадка.

— Может, у Трофимовны?

— Вряд ли. Она бы не дала.

— Не дала бы, — согласилась Бакланиха. — Как-то узнал...

Любовь подсказала... Что ты ему ответила?

Ирина опустила голову.

— Ничего? — ужаснулась Бакланиха.

ния капля за каплей, стараясь ничего не оставить на донышке памяти, чтобы вновь разбуженной болью до конца оплатить старый свой долг перед Волькой.

— Вообще-то меня Федором зовут, чтобы вы знали, но Володька больше орловцем называл. «Орловец» да «орловец». Это потому, что я родом из Орла. И сейчас там живу. В автобазе механиком работаю... А познакомились мы с ним в донской степи, на пыльном шляху, в колонне военнопленных...

— Обождите, — перебила Бакланиха, трясущейся рукой наливая ему водку в граненую рюмку. — Выпейте вот...

— Нельзя мне пить, — замылся орловец. — Вообще-то я ведь на курорт сюда приехал, печень поправить.

— На поминках и непьющие пьют, — твердо возразила Бакланиха. И в нелепой надежде ждала, что он возразит ей что-нибудь утешительное. Но орловец молча принял рюмку, выпил, похрустел огурцом.

— С ним был парень, из ваших же мест, такой длинный, сутулый... Волька как-то чудно его называл....

— Фитиль?

— Во-во, кажись, так. Знали такого?

— Ленька Шепитько. Значит, они вместе попали?

— В том-то и дело. Из-за этого... Нет, я лучше все по порядку вам обскажу... Вы слышали про Харьковское окружение? Нет? Вот после него мы и покатались аж до самого Сталинграда. Большое безобразие тогда случилось!.. Меня под Балаклеей контуженного взяли, а Володьку в какой-то деревушке под Сватовом. Они всемером на восток пробирались. Ночью шли, днем по лесочкам да балкам хоронились. Однажды нашли заброшенный подвал на краю деревни, забрались в него и уснули мертвецким сном — оголодали и заморились ведь до последней крайности. При такой усталости, по себе знаю, всякая опаска пропадает, все становится безразлично. Правду говорят, сон дороже всего на свете... Здесь их, голубчиков, немцы и накрыли. Окружили подвал и приказали выходить по одному, без оружия. А то, мол, гранатами забросаем. Пришлось выходить.

Хоть взяли нас в разных местах, а под Змиевом мы в одной колонне пленных оказались, рядом. Судьба свела. Ну и вот идем это мы, значит, по шляху под конвоем румын. Глотаем пыль, под сумасшедшим солнцем загибаемся, сухими языками не можем допнувшие губы облизнуть. Наконец объявляют привал, и мы валимся, как подкошенные, в придорожную траву, хватаем воздух запаленными ртами. А румыны ходят промеж нас и у кого что путное увидят — отбирают: у кого сапоги, у кого — офицерский ремень или часы. Мы с Володькой на это без внимания, а этот... Фитиль засекотил. На нем, понимаете, были новехонькие офицерские сапоги чистого хрома. Картинка, а не

сапоги, если их очистить от пыли. Где он их взял, не знаю. Они в Волькой в разведке служили, а разведчики любили пофорсить и положенную форму не соблюдали. Иной раз глядишь — какой-то сержант, а на нем все офицерское, кроме петлиц: и сапоги, и гимнастерка, и ремень, и планшет.

На Володьке тоже обувь справная была, тоже хром, только уже рыжий и порепанный. Фитиль как увидел, что румыны выкомаривают, сразу стал морщиться, стонать. И этак жалобно Вольке говорит: "Не могу идти. Жмут, проклятые. Может, махнемся? Твоя вроде просторней, а нога у тебя поменьше моей". Мы-то на румын не глядим, не понимаем, что к чему, все за чистую монету принимаем. Володька примерил — подходят, ну, с проста-то и махнулся. И тут как раз румын подходит. На рыжие Волькины сапоги, что теперь на Фитиле оказались, ноль внимания, а в эти-то, что на Вольке, уставился немигающим взглядом и не отпускает. Сквозь пыль, гад, разглядел, глаз у них, сводочей, наметанный. Понял Володька свою промашку, давай ноги под себя подбирать да в пыльную траву прятать — ан поздно, румын уже показывает руками: снимай, мол, давай сюда. Кто в походы не хаживал, тот не знает, что в них значит обувь. Коли она справная — идешь, песни поешь, а коли жмет, трет, мозоли набивает — все проклянешь, не раз папу и маму вспомнишь. Ну, а ежели совсем без обуви — пиши хана: будешь плакать кровавыми слезами. Волька, понятное дело, это знал. Но однако как ни боязно было потерять сапоги, жизнь дороже. Я бы так рассудил. А Волька покориться не хотел. Румын требует, а он не дает. Сидит, как каменный, и смотрит сквозь него невидящими глазами. Ну, румын, понятное дело, озверел — кинулся пинать его ногами. Поначалу Волька только увертывался, а потом не выдержал — видать по сильно больному месту получил — и как вскочит... Хорошо, я в последний момент успел за ноги его зацепить. Свалил, держу мертвой хваткой и на ухо шепчу: "Лежи, дурак. Отдай ему сапоги. Не отдашь — с мертвого стащит..." Силенкой бог меня не обидел. Вьется он, матерится, хрипит от злости, а вырваться не может. Потом затих — видно, правоту мою понял. Тут я сам сапоги с него снял и кинул румыну. Так что дальше Вольке пришлось идти босняком, и пока путь наш кончился, ноги его взялись черной коркой от пыли с кровью пополам.

Орловец рассказывал обо всем подряд, не опуская самых жестоких подробностей. То ли забыл, что перед ним Волькина мать, то ли нарочно ее не щадил. И Бакланиха была благодарна ему за это. Душа ее жаждала боли. Ей хотелось за пядью пядь пройти, проползти на коленях последний путь сына, оросить слезами каждую болячку его, отозваться на каждый стон, который когда-то до нее не долетел. Но слезы не лились, только теснили грудь трудными вздохами.

А орловец, чем дальше вел рассказ, тем больше и сам приходил в расстройство. И поэтому уже без церемоний наливал и опрокидывал рюмку за рюмкой.

- Как румын ушел, хватились мы, а Фитиля и след простыл. Колонна длинная, в какой конец перебежал, за кого спрятался - поди узнай.

К вечеру пригнали нас в какое-то разбитое село, на краю которого была база "Сельхозснаба", а при ней, как водится, - здоровенный двор, навесы, сарай для всяких там тракторов, сеялок и жаток. Правда, ничего этого там не было, а весь двор был обнесен высоким тесовым забором. Потому, видно, фрицам он и приглянулся.

Загнали нас на этот двор и принялись считать, сортировать, рассовывать по сараям. Правда, сначала напоили. Посреди двора был колодец с воротом, так вот - из него.

Мы с Володей попали в один сарай. И хорошо - догадались поближе к двери устроиться. Ночью настала страшная духота, а из-под двери маленько свежим духом тянуло. Смердило не только от жары и многолюдства. Там, в сарае, хранились удобрения. Задняя половина его была засыпана ими почти до потолка. И такой дух от них шел тяжелый - вроде как отдохлятины.

Фитилю не повезло. Как от Вольки ни скрывался, по румынской сортировке попал с нами в один сарай. Поначалу-то в суете мы этого не заметили. Но Бог шельму метит. Среди ночи Фитиля от духоты и вони такая рвота разобрала, что его полумертвого подтащили к двери отдышаться, и он натурально оказался в объятиях Вольки. Тот дал ему подышать, а потом, ни слова не говоря, стащил с него сапоги. Фитиль не сопротивлялся, только прохрипел: "Ничего. Мы еще поквитаемся. Это тебе не в Лимановке..."

- Люди добрые,- неожиданно запричитала Бакланиха, округляя глаза в страшной догадке, - это же ж он... Это же ж он, ирод, Волика сгубил. Он, черная душа! - и зашлась в рыданиях.

- Да нет, мамаша, - растерялся орловец. - Неправильная ваша догадка... Не совсем правильная...

Но Бакланиху прорвало.

- Чуяла моя душенька - не к добру судьба их свела! - повторяла она на разные лады, качаясь из стороны в сторону.

Орловец терпеливо переждал, пока она затихла, задушила в себе последние судорожные всхлипы, и осторожно повел рассказ дальше.

- Судя по всему, немцы решили из этого "Сельхозснаба" сделать натуральный пересыльный лагерь. Чтобы все чинчинарем, как по ихней тюремной науке положено. Утром привезли колючую проволоку и заставили нас кого - забор чинить, кого - обивать его поверху этой проволокой, а иным

прочим выпало выгрести удобрения из сараев. Выгрести и таскать в носилках к грузовикам. Это была самая паскудная работа. Удобрения слежались в камень. Долбишь, скребешь их лопатой до кровавых мозолей на руках. А погода ветреная была. Только вынесешь носилки из сарая - ветер, как бешеный, на них набрасывается и несет желтую пыль в лицо, в глаза - ну прямо чистая погибель, особенно тому, кто задним идет.

Да, забыл сказать. Румыны, как в лагерь нас пригнали, тут же куда-то провалились, и дальше уже немцы нас мордовали. Здоровенные, откормленные, злые - натуральные бульдоги. И еще опосля мы заметили, было там несколько русских, одетых в немецкую рвань без погон. Мы поняли так, что они при фрицах вроде слуг состояли. Ну и, наверно, для нас бурду готовили - из сахарной свеклы, отрубей и, черт знает, из чего еще. Эта бурда мне на всю жизнь запомнилась, до сих пор от нее лечусь.

Один русский держался наособицу и обличем выделялся из всех. Может, он и не русский был вовсе, а цыган или там черкес, но по-русски говорил, как мы с вами. Ростом выше меня, поджарый, как гончал, и черный, как... Одним словом, цыган. Мы так его и прозвали. Форму он тоже носил необыкновенную - не русскую и не немецкую: темно-зеленый мундир шикарного сукна, однако без погон, и хромовые сапоги с высокими гладкими голенищами. И пистолет на портупее.

Кто он такой, я понял позднее, когда уже Вольки... орловец спохватился, испуганно глянул на Бакланиху, потянул в рот корку хлеба. - Он переводчиком при немцах состоял и злобно вел агитацию, чтобы мы во власовскую армию вступали. И ведь вступили некоторые. И Фитиль вступил бы, если б успел...

Нам с Волькой выпало удобрения выгрести. И Фитилю тоже. У нас все по-людски, по-товарищески: долбим и насыпаем носилки вместе, несем попеременно - то он, то я впереди. А Фитиль сразу взялся ловчить. В напарники к нему попал какой-то то ли астматик, то ли чахоточник. Почему его такого на фронт взяли, не знаю - наверно, добровольцем пошел и как-то перехитрил комиссию. Болезнь его натурально доедала. Исхудал до костей, грудь прогнутая, лицо желтое, как лимон. И все молчит, все о чем-то думает про себя, а на то, что вокруг делается - ноль внимания. Вроде это ему без надобности.

Фитиль понял такое дело и давай пользоваться. Как ни посмотрим - он впереди гусаком выступает, а этот, хворый, сзади под тяжестью гнется. И желтая пыль летит с носилок ему в лицо. Опорожнят носилки, Фитиль опять удловку в ход пускает: топчется на месте, у машины, канителится - ждет, когда напарник поволокет носилки обратно, - и тогда уж идет за ним вразвалочку, налегке.

Смотрел, смотрел Володя на дикое это измывательство, видит - совсем хана мужику приходит от хитростей Фитиля: глаза красные, слезятся, на губах желтая корка и все лицо - будто желтой пудрой запудренное. А тут еще кашель стал его раздражать. Вы знаете, что такое чахоточный кашель?.. Я тогда впервые узнал. Это ж мука слышать и видеть! У самого начинается в груди болеть. Это не кашель, а шумная работа смерти.

Не выдержал Волька этой картины, схватил за грудки Фитиля, рванул на себя и просвистел сквозь зубы страшным звериным свистом: "Ставай сзади, падла! Кончай над человеком измываться!.." Фитиль, видать, струхнул, взялся за задние ручки и дальше по нашему примеру стал очередь соблюдать. Да... Только тому солдату это уже не помогло. То ли Фитиль его доконал, то ли само по себе время пришло... Выронил он вдруг носилки, зашатался, сел под деревом и начал валиться набок. Подхватили мы его, уложили, подсунули под голову пилотку, а у него кровавая пена изо рта. Одно только и успел сказать перед смертью: "Алексей я... Алексей Драгунцев из Ростова..." После войны я написал в ростовский адресный стол и получил оттуда семь адресов разных Алексеев Драгунцевых. Хотел по каждому адресу сообщение послать - авось и до родных дойдет, а потом передумал: кого оно утешит, такое известие. Одно дело о красивой гибели в бою сообщить, другое - об этакой вот поганой смерти.

Пока мы с Волькой старались бесполезную помощь Алексею оказать, Фитиль исчез. Вот только что был - и пропал, будто испарился. И больше ни в сарае его мы не видели, ни на работе.

Стал Волька расспрашивать, не знает ли кто, куда он подевался. Долго не мог отыскать концов, а потом кто-то вспомнил, что когда мы кинулись к Алексею, Фитиль кинулся тоже, но только в другую сторону - к домику, где фрицы со своей лакейской сворой квартировали. Там у крыльца тот цыган стоял, курил немецкие сигареты. Фитиль, оказывается, - прямоком к нему и что-то долго говорил, тряс головой, а потом вместе с ним по ступенькам поднялся и больше из дома не выходил.

Скоро, однако, мы его увидели.

Тот день, помнится, был особенно жаркий. Солнце сквозь гимнастерки жгло, как паяльной лампой, в воздухе - ни ветерка. Натуральное пекло. И в тень не спрячешься - фрицы орут "арбайтн!"

Работаем. Кто остатки удобрений выскребает, кто ямы роет под столбы у навесов - немцы их тоже хотели в сараи переделать, то есть в блоки, по-ихнему. А иные прочие продолжают колючей проволокой заборы обивать.

Мы с Волькой ямы копали. Грунт сухой, каменистый, работа тяжелая. А главное - жара донимает... Часа этак, наверно, через два такой каторжной работы языки у нас стали как жестяные и отпросились мы у конвоира попить.

Подходим к колодцу, а возле него толпа. Ну, думаем, жара

всех на водоной пригнала. Однако скрипа ворота не слышать и все как-то растерянно мнутя, переговариваются. Протолкались мы сквозь толпу и видим такую картину: здоровенный рыжий немец тычет пальцем в лежащий у сруба рулон колючей проволоки и что-то втолковывает на своем языке стоящему перед ним худому чернявому парню. Тот вертит в руках пустую консервную банку, пожимает плечами, показывает немцу то на горло, то на колодец: пить, мол, хочу... Немец в ответ трясет головой и все тычет в рулон желтым, обкуренным пальцем.

Никто ничего не может понять. Одни говорят: "Видно, требует откатить рулон", другие: "Наверно, размотать надо". Идет вот такой бестолковый галдеж. А мы с Волькой не на немца глядим, а на того, кто с ним рядом стоит. Это был Фитиль. Бритый, умытый, в немецком френче и с пустым ведром - видать, за водой для кухни пришел. Смотрит на Вольку нахальными глазами и плечиком поигрывает - дескать, вот тебе, выкуси!

Тут еще один немец подходит. Перебросился с первым несколькими словами, по-лошадиному заржал, а потом схватил того парнишку за тонкую шею и стал совать головой в рулон: "Шнел! Пользайт!" Тут поняли мы, что немцам надо. И парень понял. Посеред лицом, вывалился из толпы - и бежать. Но разве от пули убежишь? Рокотнул автомат и... не понадобилось больше паренюку ни воды, ни хлеба, ни ласки материнской, ни девичьей любви...

Орловец слил себе из бутылки остатки водки, выпил. Поглядел искоса на Бакланиху и, вздохнув, продолжил рассказ:

- И пришлось нам за несколько глотков воды устраивать для немцев представление - пренолзатъ на четвереньках сквозь тот рулон. Ладонями, локтями, коленями по колючкам. Что это было за удовольствие - понимаете. Оно бы убежать - черт с ней, с водой! - да боязно - судьба того парня перед глазами. Ну и ползем, один за другим, гуськом. А немцы хохочут, потешаются, подгоняют - в зад пинком. А Фитиль им по-лакейски подхихкивает... Как это так получается, что был вроде человек как человек и вдруг в момент обернулся такой паскудой?..

- А он, коли поглядеть, никогда и не был человеком, - отозвалась Бакланиха. - Он здесь, когда с хлопцами озоровал, самую злую шкodu всегда придумывал. А как те в нее вмажутя, всегда успевал в сторонку отгрести. Им - снъяки и шишки, а ему хоть бы хны, бесплатный театр.

- Вижу - Володька напрягся весь, - продолжал орловец, - озирается по сторонам, как затравленный волк. Того и гляди - либо на немцев кинется, либо ударится бежать, как тот паренек и, значит, тот же конец ему будет. Самое нестерпимое для него было, как я понимаю, развлекать немцев на глазах Фитиля, под его хихиканье. Вы ж понимаете?!

Хорошо, я вовремя его настроение уловил. Схватил за локоть железной хваткой и говорю: "Лезь, не дури. Чтобы

отомстить, надо живым остаться..." Видно, нужные слова нашел, подействовали они на Вольку. Полез он сквозь этот проклятый рулон, напился, обмыл окровавленные ладони... И пока пил из ведра, смотрел на Фитиля таким... как бы это сказать... прожигающим взглядом, что тот полинял, перестал хихикать, а потом вдруг повернулся и пошагал от колодца, поматывая пустым ведром.

В ту ночь Володька почти не спал и мне не давал. Все про жизнь свою рассказывал, про то, как здесь, у вас хулиганичал. И ругал себя последними словами. Я, мол, над людьми почти так же измывался, как сейчас фрицы над нами. Выходит, я был вроде как фашист?.. "Никакой ты, - говорю, - был не фашист, а обыкновенный хулиган". - "Тогда, значит, и немцы - хулиганы?" - "А они все сразу: и фашисты, и хулиганы, и просто сволочи".

Особенно он девушку какую-то жалел. Она, говорит, единственная во мне человека разглядела, а я ее за это последним скотством отблагодарил. Мне, говорит, погибать нельзя. Надо перед нею оправдаться. "Чего ж тогда лезешь на рожон?" - спрашиваю. А он: "Не могу стерпеть, натура такая".

Потом вдруг на Фитиля перекинулся. И одно твердит: "Убью подлюгу. Не будет мне покою, пока этот пидор будет ходить по земле". Ну и сам из-за дерьма погибнешь, говорю. А погибать - сам же говоришь - тебе никак нельзя. "Нельзя, - соглашается. - Но эту вадлу в живых оставлять тоже нельзя". Всю оставшуюся жизнь буду жалеть, что не сумел тогда его разубедить, не нашел каких-то главных слов. Может, и нашел бы, да тут откуда ни возьмись певун у нас объявился...

- Певун?

- Ну да. Певец то есть. Чудно это все как-то получилось. Сидим мы так это... Дело к ночи... Но хоть и уморились все до последней крайности, никому толком не снится - кого кашель разбирает, у кого раны да ссадины болят, кого зуд от пота и грязи донимает... Ну и кто стонет, кто матерится, что закурить нечего... Короче, сидим мы такой вот тесной вонючей толпой (пот, кровь, удобрения - все смешалось) и вдруг над всем этим дерьмом взлетает тонкий, чистый голос и поет незнакомую песню на незнакомом языке... Можете представить?.. Все, конечно, сразу умолкли, замерли - кажется, даже дышать перестали. А песня вьется, звенит, переливается - и такая в ней красота, такая отвага и свобода, что... Ну, это не описать! Понимаете, мы как-то враз все почувствовали, что есть еще вольная, красивая жизнь, любовь, счастье, радость. А главное - надежда... В общем, что мы еще живые и будем жить, понимаете?..

А парень одну песню кончит, другую начинает. По-моему, даже немцы заслушались. То все время за дверьми раздавались

шаги часового, а тут затихли, не слышать. Кромешная тишина - и песня.

Но вот уже кто-то из наших тихонько заскулил, завозился, засморкался. Я и сам чувствую - в горле першит, на глаза слезы наволакиваются. И тут Волька вдруг уронил голову мне на плечо и затрясся, как в припадке.

- Ты что, Володь? - говорю.

Он, конечно, отпрянул. Гордый.

- Ничего...

- А какое ничего, когда в голосе слезы слышны, и все плечо у меня мокрое.

- Плакал? - охнула Бакланиха. - Волька плакал?

- А что ж он, из камня, по-вашему?.. Пел это, значит, парень, пел и вдруг кто-то как заорет:

- Да заткнись ты, мать твою!.. Не терзай душу!

Но на крикуна сразу поднялись, зашумели.

- Нехай поет!

- Пой, парень, не слушай его!

- Это что у тебя за песни?

Парень что-то ответил, но я не расслышал. Однако по головам прошелестело - "неаполитанские"... Потом-то я узнал: это такие итальянские песни из города Неаполя. И пел парень их, видать, на итальянском языке. Откуда он знал его - бог весть.

- А на русском можешь? - спросил кто-то.

Не знаю, что парень ответил, но дальше он пел по-русски. Особенно запомнилась мне песня, которую потом я много раз слышал и на итальянском, и на русском языке. Песня про город Сорренто, а если вернее - про любовь.

Долго он пел. Спросите, зачем? До пенья ли, мол, было там, в том сарае, в трех шагах от смерти?.. В темной душе такие светлые песни родиться не могут. Да еще в такое время. Бог парня осенил, подсказал, что всем нам в то время больше всего требовалось. Как знать, может, это вот пенье многим из нас помогло выстоять, душу и жизнь сохранить...

Только вот с Волькой, наверно, наоборот получилось. Если до этого концерта он еще как-то мирился со скотским своим положением, то после него в нем вроде бы снова человек распрямился - гордый и непоклонный. И с той поры затвердил он одно: "Ты как хочешь, а я буду когти рвать... Лучше пулю поймать, чем так загибаться".

Хорошо пел хлопец, да лучше бы не пел. Кстати сказать, отыскать его мне потом так и не удалось. На следующий день пошла такая кутерьма, что стало не до этого. И кем был этот парень - настоящим певцом или так - певуном-любителем - узнать мне не довелось.

Утром нас пригнали на станцию разгружать платформы с

бревнами и досками. Работа шла так: одни с платформы доски или бревна подавали, другие их принимали и складывали на машины. Мы с Волькой на платформу забрались, на гору бревен. И вдруг оказались на такой высоте, откуда все - как на ладони: и село, и станция, и степь, которая сразу за путями начиналась...

Володька как глянул в степь, так и застыл. Только волосы под ветром шевелятся да ноздри раздуваются. Волей его опануло. Дальними далями, широкими просторами. По себе понижаю. Я человек спокойный, рассудительный, а и то - как глянул туда, где травы под ветром - волной, где небо с землею сходится, где кучерявятся белые облака и под облаками вольный кобчик кружит - так и задрожало все внутри и сердце заколотилось... Но вниз поглядел - близка воля, а смерть ближе: два автоматчика, Цыган да еще шофера вооруженные - со стороны станции; шестеро автоматчиков полукольцом - со стороны степи. Сквозь такую сеть не прорвешься.

И все-таки Волька надумал бежать. В этот день, правда, не решился, но ночью составил точный план и давай меня на побег агитировать. План у него был простой: выдернуть жерди, катануть бревна на часовых, пользуясь суматохой разоружить одного - и стрекануть, сперва вдоль путей, а потом - по степи, по балкам и буеракам.

Мне этот план не понравился. Он был бы хорош, если бы в нем участвовали все пленные, которым выпадет на станции работать. Сыпанули бы в разные стороны - глядишь, кому-то и удалось бы сбежать. Но разве можно всех оповестить? Мы ж никого толком не знали. Да и кого в следующий раз погонят на станцию, тоже неизвестно. Может, и мы туда больше не попадем.

Волька не стал меня слушать. Как хочешь, мол, а я рискну. Лучшего случая не будет. И только об одном мечтал: хоть раз еще попасть на станцию... Сколько живу после того, столько жалею, что он тот план в точности не испытал. Черт его знает, как оно получилось бы. Смелым Бог помогает...

Волькина мечта сбылась на следующий же день. Утром нас снова построили и погнали на станцию.

Какое-то время все шло обычным путем. Потом появился Фитиль. Приехал в кабине машины рядом с немцем-шофером, лихо выпрыгнул, что-то сказал Цыгану, тот вскочил в кабину и укатил, а Фитиль остался. Глядим - у него пополнение в экипировке: на поясе висит длинный немецкий тесак в ободренных ножнах. Другие русские, которые при немцах состояли, оружия не имели, а у этого, понимаете, тесак. Я думаю, он у немцев где-нибудь без дела валялся или на кухне использовался, а Фитиль взял и нацепил. И ему разрешили - значит, особое доверие у немцев заслужил. Ну, а нацепил-то

тесак он, по-моему, из-за того, что Вольки боялся.

Мы, значит, вкалываем, а Фитиль сидит этаким фертом в немецком френче на подножке немецкого автомобиля и зазубренным тесаком палочку строгает. Да, забыл вам сказать. Сапоги-то, помните, Волька с него стащил. Однако уже тогда, у колодца он был обутый, не помню только во что - не разглядел в той катавасии. А тут смотрим - сапоги на нем, кирзовые, правда, но совсем новые, будто только со склада. То ли трофейные немцы выдали, то ли сам с кого-то содрал.

По всему видать, Фитилю хотелось покуражиться перед Волькой, показать, что он его нисколько не боится и что ему плевать, как Волька о нем думает. Наверно, он считал себя уже одним из хозяев жизни, которую немцы устроят для себя и своих холуев. Рожа сытая. На губах ухмылка.

Острогал палочку и пошел по перрону взад-вперед прохаживаться. Идет вальяжной походочкой, прутиком по сапогам себя похлопывает и все на Вольку ехидным взглядом косит. А того, понятное дело, от злости аж наизнанку выворачивает...

Орловец вдруг умолк, посмотрел на часы.

- Ого, время-то... Может, завтра докончим, мамаша?

- Да ты шо! - встрепенулась Бакланиха. - Давай зараз кончай. Прáвда, выпить у меня больше нема. Может, квасу или чаю?

- Давайте квасу.

Разом осушив корец погребного холодного квасу, орловец утерся, обстоятельно закурил.

- Оно и рассказывать-то осталось... Да лучше бы мне век о таком не рассказывать... Поначалу-то, когда Фитиля не было, Волька то и дело в степь поглядывал, а иногда незаметно жерди пробовал - крепко ли сидят. Видно, точно бежать собирался. А как Фитиля увидел, обо всем забыл. Главным для него стало - с этим "землячком" поквитаться. За того ростовского Алексея, за ребят, что под его холуйское хихиканье сквозь колючий рулон ползли, и за этих ребят, которые голыми руками, без рукавиц нетесанные доски таскали да перекладывали, оставляя в ладонях чертову уйму заноз, в то время, как он по перрону с сытой рожей прогуливался... Я так понимаю, что в тот момент Фитиль для Вольки был самым лютым врагом. Он ненавидел его куда больше, чем немцев. Из-за этого-то все и получилось, один плав у него другому помешал. Хотя, конечно, относительно Фитиля - это и не план был, а так... дурость одна...

В общем, увидел Волька, что Фитиль приблизился к нашей платформе, бросился коршуном на него, свалил, выхватил тот немецкий тесак и всадил ему в пузо по самую рукоятку. Да.. А рядом немец с автоматом егоял...

Орловец умолк.

- Все? - тихо спросила Бакланиха.

- Все. Схоронить нам его не дали. Тут же погнали всех в лагерь.

- А он так и остался лежать вместе с тем вродом? - опять зарыдала Бакланиха. И рыдала долго и безутешно.

Орловец не успокаивал. Понимал - по-настоящему она оплакивает сына впервые. А когда проплакалась, тихо спросил:

- Мать Фитиля жива?

- Жива.

- Вы на нее зла не держите. Ни одна мать по своему хотению подлецов не рожает и не растит. И еще одно. Вы ту девушку его знали?

- Знала.

- Волька просил, если что - сообщить ей. Адрес у вас есть?

- Возьму у Трофимовны, ейной бабки. Опишу все, как есть.

... Долго из темноты доносилось осторожное постукивание палки орловца да лай собак - сначала близкий и громкий, потом все дальше и дальше, все тише и тише, пока не замер совсем. И только тут Бакланиха спохватилась, что ничего про него не узнала, даже фамилию не спросила. А главное - как сам-то он из того лагеря вырвался живым. Хотела побежать, догнать, но не было сил. Да и чего спрашивать - у каждого судьба своя...

Сегодня на месте дома Баклановых и многих других соседних с ним домов стоит элеватор. На лимане не видно чернопарусных каюков, их заменили малые рыболовецкие траулеры. Через Лимановку пролегла широкая асфальтовая дорога, связавшая город с пляжем. И Лимановка уже не Лимановка, а тридцать седьмой микрорайон города Приазовска. Обычный микрорайон с обычными пятиэтажными домами. Десятка два последних частных домов живут в ожидании скорого сноса. И только над ними еще можно увидеть знаменитые лимановские скворечни - скворечни-терема, скворечни-корабли, скворечни-дирижабли, бочки и сундучки, - только в этих домах, может быть, жива пока память о Вольке Баклане, последнем предводителе последней лимановской ватаги. А возможно, еще и в каком-нибудь из петербургских домов...

РАССКАЗЫ

ФРОСЬКИНО НЕБО

Сначала это было только странно. Никита даже спящей видел Евдокию не часто. А тут - лежит среди бела дня, бросив на одеяло тонкие голубоватые руки. Лежит удивительно плоско, тяжело. Так, что видишь - навряд ли поднимется.

Целыми часами она медлительно и неотступно ощупывала взглядом потолок.

Однажды Никита заметил, что брови ее плаксиво сведены к переносью, губы что-то беззвучно шепчут. Наклонившись, услышал:

- Муха... Убери... Убей!..

По потолку ползла муха. Она разрушала текущий с него холодный белый покой - единственное, чем дорожила теперь Евдокия...

Хоронили ее одни старики да старухи. С молодыми Евдокия и в девичестве не зналась.

Над процессией моросил мелкий въедливый дождь. Морщинистые мокрые лица были торжественны, и какое-то тихое довольство светилось в блеклых глазах. Казалось, люди только что закончили большую работу и теперь с тайной гордостью несут ее показать.

Размокшие комья земли вязко шмякались о крышку гроба. В толпе порхали платки: после прощальных горстей оттирались руки.

- А ну, отсуньтесь, мамаша, - сказал Никита какой-то горбатой старухе. И, поплевав в ладони, ухватился за лопату...

На поминках шумно пили и ели. И нахваливали Евдокию. Все одними словами: хозяйственная, домовитая, самостоятельная. Софья, сестра Евдокии, довольно поддакивала и со сладкой улыбкой, чужой на ее недобром лице, подливала водку в стаканы.

Перекособочившийся спягну старичок неожиданно взревел сильным дребезжающим голосом:

Распрягайте, хлопцы, коней...

На него зашикали. Но кто-то уже густо подхватил:

Тай-й лягайте по-очивать...

Никита вышел во двор. Черная тьма была заполнена скучным плеском, остро пахло мокрыми заборами. И тихо звинчивался в эту плещущую тьму несмелый собачий вой.

- Буян! Буяшка! - позвал Никита.

Буян не бросился, как бывало, на грудь. Плотнo прислонил-

ся к ноге мелко подрагивающим боком и затих. Никита присел на корточки, прижался щекой к его морде.

- Ну, повой, Буяшка, повой...

... Утром Софья такая же скорбно деловитая, как все эти дни, увязала в тюк платья сестры, вскинула на костлявую спину и молча пошла к двери. У порога остановилась, клюнула Никиту в щеку холодным носом.

- Если что - женись. Допрежь со мной только посоветуйся. А то, гляди, каку-нибудь вертифостку возьмешь...

В опустевшем доме поселилось недоброе безмолвие. С первого же одинокого вечера к Никите пришло странное ощущение - оно было где-то в спине, в ссутулившихся плечах его, - что каждая вещь в доме живет какой-то особой таинственной жизнью. О чем-то своем тикают ходики. О чем-то тяжело молчит комод. О чем-то поют, как сядешь, пружины продавленного дивана. И будто чей-то цепкий, враждебный взгляд сторожит каждый шаг его.

Чтобы подолгу не оставаться одному в светлой пустоте комнат, Никита все вечера просиживал на ступеньках крыльца. Это были мудрые осенние вечера с негусто плавающим в их прозрачной тишине собачьим брехом и мирными людскими голосами. Неслышно текли часы. Никиту медленно заглатывала тьма. Но долго еще храбро гляделся в нее красный огонек его папиросы.

В эти часы к Никите приходили дикие, растрепанные мысли. "Померла Евдокия. Совсем померла... А не хотелось, поди? Только не говорила. Жила молчком и померла молчком... Зря-таки трещину в крышке не замазал. Небось, полон гроб дождя натекло..."

Время от времени на соседском дворе показывалась Фроська. Развешивала белье, трясла половики, выносила помои.

Однажды тоненькая фигурка ее замаячила на грядках с пожухлой картофельной ботвой. Некоторое время Никита машинально наблюдал за каждым ее движением. Потом вдруг встрепенулся, с грузной торопливостью пришагал к забору.

- Фрось! А, Фрось!..

Фроська, напрыскав копавшаяся в земле, испуганно распрямилась.

- А, это ты... Здравствуй, Никита!

- Никак уже картошку копаешь?

- Да нет. С ведро разве - на пока...

- Ну-ну... А я гляжу... Рановато вроде.

- Конечно, рановато. Ну, как ты? Все тоскуешь?..

Никита неопределенно качнул плечами, зашарил по карма-

нам крупно поддрагивающими руками, вытащил спички, снова сунул обратно. Заговорил растерянно и удивленно:

- Один... Совсем один. Будто пес на погосте. Вроде и было-то всего двое, а - семья. Евдокия, ты знаешь, не разговорится, одно - горшками гремит. Так хоть горшками. Звук был. А сейчас, понимаешь, - он перешел на таинственный шепот, - звуков не стало. Только мои шаги да и то будто чужие... До того дошло - шкафа, комода боюсь. Кажись, думают и думают что-то у меня по-за спиной...

- Ой-й, жуть какая! - всплеснула Фроська руками. - Хочешь, репродуктор дам? Мне без надобности - приемник есть, а тебе - все равно, как человек в доме прибавится.

- Так проводки же нету, - безнадежно махнул рукой Никита. - Сэкономила Евдокия... От-т не повезло!.. Хоть бы ребенок был. Врачи говорили, детская матка. Почему детская, а? У такой-то здоровенной бабы?..

Фроська не ответила. Никита перепугался вдруг, что она уйдет и ему снова придется скучно сидеть на крыльце или - того хуже - коротать вечер в белом безмолвии дома.

- Ты, Фрось, вот что, - ухватившись за прясло, заговорил он жалобно и просительно. - Зашла бы когда ни то, а?.. Тебе, чай, тоже муторно одной-то...

- Что ты, Никита! - замахала Фроська руками. - Люди увидят - такого наговорят!

- А что люди? Мы ж - ничего. По-соседски просто.

Фроська несогласно мотала головой...

И снова вечер. Снова Никита грузно сидит на крыльце. Буян потерялся, потерялся о ноги хозяина, увидел, что ласки не выпросишь, да и свернулся клубком в конуре. А Никита все сидит и сидит, досасывая седьмую папиросу. Сегодня в нем пузырится неясное нетерпение. Глаза нет-нет да и вглядываются в розово светящиеся занавески выходящего во двор Фроськиного окна. Порою кажется, будто тень пробегает по занавескам.

А, может, то просто усталость застит глаза...

Чу - скрипнула дверь. Или тоже показалось? Да нет - ровно стоит кто на Фроськином крыльце. А кому ж и стоять, как не ей?

- Фрось! - тихо окликнул Никита.

Молчание. А потом - сонное, ночное, тайное - пришелестело оттуда, от крыльца:

- Все сидишь? Все куришь?..

Никита подошел к забору - подошел медленно, тихо, будто боясь спугнуть серое говорящее облачко.

И - сдвинуто, полупшепотом:

- Фрось!.. Я вот что думаю. Бобыль да бобылка. Одна беда. А ежели беда к беде - может, и ничего, и не беда уже будет, а?

- Не то что-то говоришь, Никита.

И растаяло облачко. А вскоре и свет в окне погас. словно приснилось все...

И снова шли дожди. Дни и ночи, с короткими, тусклыми перерывами. Все сочилось водой. По всему белому свету разлился серый холодный сумрак. В мокрые окна вползала тягучая осенняя тоска.

Непогода вынуждала Никиту к домоседству. После долгого рьяного поиска нашел он в тещином сундуке - среди каких-то доскутков, старых-престарых облигаций - альбом с открытками, черный веер из перьев и две книжки: задачник по арифметике для пятого класса и еще какую-то, без переплета, без нескольких листов, начинавшуюся чудными стихами: "Адмирал-вдовец по морям ходил, по морям ходил - корабли водил..." Задачник швырнул обратно, а стихи прочитал до конца, холодно дивясь искусству, с которым они сложены. А что к чему - так и не понял.

Но даже и в эти дождливые дни он нет-нет да и выходил на крыльцо. Только теперь не садился на ступеньки, а стоял, прислонившись к резному столбу. Постоит, постоит, послушает ленивый рокот дождя, выкурит папиросу - и в дом. И меряет шагами комнаты или с вялым безразличием листает все ту же книжицу...

На этот раз, только он вышел на крыльцо, глядь - Фроська идет от колодца с полным ведром. Простоволосая, в кое-как накинутом плаще, в галошах на босу ногу. Вода в ведре аж кипит под дождем.

- Здорово, - глухо окликнул Никита.

Фроська остановилась, по-собачьи ловко отряхнулась от воды, указала подбородком в хмарное небо.

- Вот поливает!

- Поливает... - согласился Никита и почувствовал, что ноги его сами начинают вкрадчиво сшагивать с крыльца.

На этот раз Фроська артачиться не стала. Обежала взглядом дождящееся безлюдье, коротко вздохнула.

- Ну хорошо. Зайду.

Дома она подошла к зеркалу, загладила за уши мокрые пряди волос. Вспомнилась, как минувшей весной застыла вдруг у распахнутого окна с недомытой чашкой в руках, загляделась в синее предночь. Медленно накалялись звезды. Луна любовно расчесывала гривы набегающих облаков. Где-то парила песня. Откуда-то доносился счастливый девичий смех... Сердце скогтила безумная жалость к себе, к своей без любви истлевающей молодости. И хрустнула чашка в руках. И полились, полились бесконечные вдовьи слезы...

- Ну, я пойду? - поднялась Фроська.

Ее истомил худосочный, то и дело пересыхающий разговор. Ей было неуютно в комнате, залитой чахлым светом единственной голдой лампочки, среди темной тяжелой мебели.

Торжественная скука текла с фотографий, которыми были густо усеяны стены. Мать Евдокии в гробу. Дядя Евдокии, ее маленький братишка, померший от скарлатины, какие-то дальние родственники.... Сплошные гробы и стандартно похоронные лица позирующих подле покойников соседей и близких.

- Посиди еще, - взмолился Никита. - Хопь, чайку скипячу?

- Нет. Надо идти, - заупрямилась было Фроська. А сама - ни с места. Смотрит на него жадно и жалостливо. На рубашке, плотно облегающей его крутые плечи, не хватает двух верхних пуговиц. В широко распахнутом вырезе на груди курчавятся упругие черные волосы. А шея у него была по-мальчишечьи нежная. И над нею - массивная, упрямо посаженная голова с темным то ли обветренным, то ли загорелым лицом. Над смиренными серыми глазами выгнулись иссиня-черные брови.

Долго молчали. Потом Фроська резко поднялась и пошла к двери.

В сенях, в крошечной тьме, Никита, поторопившись, ткнулся ей в спину и, смущенно охнув, ухватился за плечи. В груди взметнулась горячая волна. Голову одурманил ромашковый запах ее непросохших волос.

- Фроська, - вытолкнул он со стоном и алчно приник к ее шее губами.

- Никита... Никита, не надо! - забила Фроська в его руках.

- Н-не на-до!...

Но он все плотнее прижимал ее к себе, выдыхая измятые страстью, нелепые, грубовато-ласковые слова. Потом рывком повернул к себе, победно прижался к ее влажным, быстро накаляющимся губам своими - неподатливыми, неумелыми...

На Фроськином лице рыхлый отсвет далекого уличного фонаря. Фонарь слегка покачивается под ветром, и свет покачивается, гоняет по ее лицу бледную зыбь. Никита видит из плотно укутавшей его тьмы яркие Фроськины глаза.

- Я знаю, - говорит Фроська. - Я знаю, что это никакая не любовь... Так, от тоски да от страха...

Никита густо молчит.

- А Евдокию ты любил? ... Говорят, вы жили душа в душу. Любил, да? - допытывалась Фроська.

- Вот затеяла... - нехотя отзывается Никита. "Любил", "не любил"... Да она, любовь, может, только в книжках и бывает. Да еще в кино.

- Как - "только в книжках"? - удивленно поворачивается к

нему Фроська. - А в жизни, думаешь, не бывает?.. Да в жизни, если хочешь знать, еще лучше, чем в книжках, бывает. Бывает такая любовь... Недавно, как раз в мое дежурство, пришел на нашу телефонную станцию этот... ну, знаешь, бабки Савиной сын. Доктор, говорят. Только из института... С Томском разговаривал. На том конце чистый такой, как у дикторши, голос. Он ей что ни слово - "любимая". А она ему - "дорогой", "Венчик" (его Венькой зовут)...

- А может, это одни слова?

- Какие слова! Когда расплачивался, у него руки дрожали. Сама видела!

- Ну, а ты... мужика своего любила?

Фроська отвечает не сразу. Лежит с закрытыми глазами, глубоко утопив голову в подушку, - думает, прислушивается к чему-то в себе. Сейчас она похожа на девочку, старательно припоминающую строчки нетвердо выученного стихотворения.

- Любила, - слышит Никита. - Да, да, любила!

- Все время?

- До самого конца!

"Чудно", - думает Никита.

Он знает Фроську с девичества. Веселее и бедовой девки во всем поселке не было. Где Фроська - там веселье. Где веселье - там Фроська. Вечера напролет у скамейки возле ее калитки хороводились парни и девчата, не смолкали переборы баянов, не кончались песни и смех.

- Непутящая, - шипела Евдокия. - Только и делов, что с парнями гужеваться... Догужуется!

И вдруг разом все прекратилось. Ни парней, ни девчат у калитки. Ни песен, ни гвалта. Пустая скамейка. Грустная тишина...

Но только обступит скамейку темная темень, на ней уже забелелась пестрогрудая семенова гуцулка, и льнет к гуцулке златокобая Фроськина голова. И так - ночь за ночью. Бог знает, о чем они говорят, чем полны для них эти часы...

А потом была свадьба. Столы накрыли прямо во дворе, и за столами сидели все старые Фроськины знакомцы. Разливались баяны, песни летели до самых дальних околиц. Фроська - снова такая же, как бывало, то и дело пускалась в пляс и тянула за руку упирающегося Семена.

Часа через два он напился и, размахивая бутылкой, принялся разгонять гостей.

Свадьба сломалась. Поверх разгромленных столов стлались горькие Фроськины рыдания, рассыпались растерянные причитания ее матери.

- Нашла муженька, - злорадствовала Евдокия. - Ужо он ей всех былых ухажеров припомнит...

А тот и вправду стал и припоминать, и придумывать. И

пошла у Фроськи не жизнь - сплошное бедованье... Пока трезв, Семен тихий, как овца, и смотрит на Фроську виношатymi влюбленными глазами. И Фроська торопится получше его одеть и вывести куда-нибудь на люди - в сад или в кино. Будто кому-то что-то доказывает. Смотрите, мол, какой он красивый да ладный. Смотрите, какой хороший... Но лишь подопьет Семен, свирепеет. И пошел гвоздить жену пудовыми кулаками. Да все "под дых" норовит, да побольнее - со смачным кряканьем и надсадой. А пил через день да через два - на третий. И вечно ходила Фроська с синяками под скорбными богородичьими глазами. И даже походка у нее изменилась - стала неуверенная, пугливая. Кажется, вот-вот отпрянет в сторону, в ужасе прижмет к забору. Мать и трех месяцев такой жизни не выдержала - источила ее сердце бессильная жалость к дочери, - а Фроська все чего-то ждала, на что-то надеялась.

Когда Семен спьяну повесился, все думали, что Фроська, не таясь, с облегчением перекрестится. А она - мать так не оплакивала - три дня, не переставая, ревя редела.

- Дурак ты, дурак. Что ты только наде-е-лал... Любила ж я тебя, и-рода-а...

"Чудно, - удивляется Никита. - Какая ж тут любовь?.. Мы с Евдокией жили хоть, может, и без любви, зато и без мордобитиев, а тут..."

- Не любила ты его, - уверенно говорит он. - Наперекор другим себе это в голову втемящила.

У Никиты с Евдокией все было совсем по-другому. Пятнадцать лет назад в желто-лиловые июльские сумерки он несмело постучал в окно этого дома.

Калитку открыла длинная плоская девка с будничным долгоносим лицом.

- Кого надо?

- Мне бы хозяев.

- Зачем?

- Слышал, квартирантов принимают...

Девка молча обшарила цепким взглядом его детдомовское одеяние и скрылась за калиткой. Минуты две спустя вышла старуха, такая же длинная и плоская.

- Где работаешь?

- В ремстройконтору устраиваюсь, столяром.

- Из детдомовцев?

- Детдомовец.

- Харчеваться с нами будешь? Бельишко нам будешь в стирку отдавать?

- Как хотите...

Старуха подумала, поплямкала губами.

- Пятьсот рублей... И по дому когда ни то поможешь...

Помогать пришлось много: копался на огороде, таскал воду, пилил и колот дрова. Подучившись, всю мебель в доме перечинил. А потом и делать стал кое-что по мелочи - табуретки, скамейки, кухонные столы. Старуха их тотчас же сволакивала на базар. Поначалу она и его хотела впутать в свои торговые дела - дескать, хоть снести помощи. Но Никита наотрез отказался.

- Свои, конторские увидят... Лес ить не в магазине покупал.

Со временем он стал замечать, что относятся к нему хозяйки, хоть и без особого тепла, но с уважением. И мелкие приятности ему делают - то сапоги помоют, то носки подштопают, то полотенце после умывания подадут.

- Мы не то, что иные прочие, - говаривала старуха за столом.

- На нас путные квартиранты никогда не обижаются. Ни в мясе, ни в салате, ни в бабьей заботе не отказуем... Какой ты квартирант, такие мы тебе хозяевы...

Чем дальше, тем чаще ловил на себе Никита уклончивые, косые взгляды хозяйкиной дочки. Наткнувшись на его вопрошающий взгляд, она кривила рот в неумелой улыбке.

Однажды она пришла в сарай, где Никита работал у самодельного верстака, набрать стружек для растопки. Набрала, намгла их в ведро и не уходит - смотрит на него недвижными покорными глазами.

- Ты чего? - спросил он, откидывая со лба потный чуб.

Качнула плечами, колыхнула что-то неясное в глазах и снова стоит, не уходит.

Никита захлопнул дверь сарая, притиснул ее к стене и стал нахально обшаривать под юбкой ее холодное костлявое тело. Она только странно всхохатывала: "Гы-ы-ы..." - и манерно прикрывала рот ладошкой.

За ужином старуха деловито сказала:

- Ты вот что, женись на Евдокии. Нечего шупаться по углам... Девка работающая, здоровая, не кака-нибудь вертифостка... Помру - вам дом отойдет. За такой ноне сорок тыщ дают.

Евдокия не проронила ни слова. А на ночь, неожиданно для Никиты, постелила им вместе.

- А ты не бойсь, не бойсь, - успокоила старуха. - Это та девка до самой свадьбы тянет, которая порчу свою хочет попоздней открыть...

Другого дома Никита никогда не знал. Поэтому устоявшийся здесь порядок принял без сомнений и возражений.

У каждого были свои обязанности. Никита столярничал в своей ремстройконторе и дома по вечерам. Мать торговала на рынке овощами и его немудреными поделками. Евдокия копалась на огороде, готовила, стирала.

Жили уединенно, хлопотно и скудно.

У старухи бывали радости - те минуты, когда она доставала из нижнего ящика комода пузатый ридикюль и всовывала в него несколько крупных ассигнаций. После этого она становилась доброй, говорила мирным расслабленным голосом. Разное говорила:

- И лежач камень мохом обрастает...

- На казну работай, на себя трудись...

Выпадали радости и Никите. С каждой его получки старуха покупала пол-литра водки. По рюмке выпивали бабы, остальное он. Каждый раз Никита старался посильнее охмелеть. Иногда притворялся пьяным. А скорее и сам не знал, то ли точно пьян, то ли прикидывается. Это были часы, в которые он чувствовал себя настоящим хозяином. Любое хмельное желание его выполнялось с торопливой угодливостью, безропотно сносились его капризная брань. Поведи он себя в это время как-то иначе, бабы, пожалуй, чувствовали бы себя чем-то обделенными. Должен же мужик когда-то проявлять себя мужиком!..

А какие радости случались у Евдокии?

Этого Никита не знал. Лицо жены всегда было сумрачным и озабоченным. Кажется, она любила кино. Но бывала в нем не чаще, чем раз в полгода...

В воскресенье Фроська притащила Никите картину.

- Вот. Над диваном повесь. Сразу веселее в доме станет!

Никита растерялся.

- А упокойников... А фотографии куда?

- В альбом.

- Да нету альбома.

- Ну, в комод положи.

- Кто их там увидит?

- А зачем их видеть?

Никита тупо посмотрел на снимки, махнул рукой.

- И то правда - одна тоска от этих гробов.

На картине была нарисована глазастая босоногая девчонка. Сидит, пригорюнившись, на берегу не то речки, не то пруда и смотрит на воду. Ничего особенного, а глядишь - и в сердце прорастает тихая ласковая печаль, и чувствуешь себя большим и добрым.

"Аленушка", - прочитал Никита на наклейке с обратной стороны картины. - Это кто ж такая?

- Не знаю, - пожала плечами Фроська. - А хорошее имя, правда? Аленушка...

С появлением этой картины будто еще одна живая душа поселилась в доме. При Фроське Никита вроде бы и не замечал ее подарка. Но, оставаясь один, подолгу вглядывался в сказочно чистые аленушкины глаза и, казалось, настороженно прислушивался к нарождающимся в нем странным, доселе неслышанным звукам. "Видать, сирота, - думал он. - Может, обидел кто, а пожаловаться некому - ни отца, ни матери. Вот и пришла сюда горе выплакаться..."

И вспомнилось ему собственное обкраденное войной детство, как растение света, лишенное родительской любви. Детство, в котором первыми отлившимися из лепета словами были не "мама" и "папа", а "тетя", "дядя" и еще упрямое, злое - "отдай!"

Появление "Аленушки" было только первой из начавшихся в доме перемен. Пустив в ход связи, Фроська добилась, что Никите быстро провели радио. Потом уговорила его купить трехрожковую люстру. Потом отыскала с его помощью и развесила по окнам бесполезно желтившийся в тещином сундуке новехонький тюль. Заполненный музыкой и бессонными людскими голосами, облитый мягким светом, отскобленный Фроськиными стараниями от многолетней тайной грязи и пыли, старый дом взбодрился, сбросил с себя угрюмое оцепенение. И теперь удивительными казались Никите давешние страхи.

Изменения в жизни и радовали, и пугали его. "Все это хорошо, - думал он, - радио и всякое прочее. Но почему такого не было при Евдокии? Что она - дура была? Вроде не скажешь..."

Однажды Никита заметил, что электросчетчик стал куда бойчее, чем прежде, цифирки перебрасывать. Не успеешь одну разглядеть - ей на смену вторая, третья...

- Ишь ты... Ишь мотает, с-сука! - возмутился он. И вспомнил о Евдокии. У нее бы не помотал...

На этот раз Фроська Никиту в квартире не застала. А из сарая доносилось сосредоточенное сопение фуганка.

- Ты что делаешь? - спросила она, выглядывая из-за плеча.

- Да вот... Шкаф хочу, - нехотя отозвался он.

- У тебя же есть.

- Так не мне. Авось покупатель найдется.

- Тебе деньги нужны?

- Деньги завсегда нужны, - веско ответил Никита.

Ночью в постели Фроська принялась допытываться:

- Никит... А, Никит... Теща и жена твоя, я знаю, были... бережливые. А много ли после них осталось?

- А зачем тебе? - насторожился он.

- Ты не думай... Мне твои деньги не нужны... Просто интересно.

- У тещи, кажись, много было. А померла - Евдокия говорила - почти все Софии оставила... После Евдокии мне сот девять пришлось. И все на похороны ушли...

- Копили-копили и - ничего, - подытожила Фроська. - А сейчас ты себе на похороны хочешь накопить?

- Что? Какие такие похороны? - недоуменно приподнялся на локте Никита.

- Ладно. Давай-ка спать, - предложила Фроська.

Самá того не ведая, она всклубила, взбаламутила в Никите едва осевшую мутную горечь. Ему вспомнилась мокрая тьма, тоскливо поднятая к небу морда Буяна и не по-похоронному веселый гул за окном.

- Я про жизнь думаю, - сказал он после долгого молчания. И не удержался - добавил, отвечая на собственные мысли: - Поминки - одна пакость. Бывает, которая собака по-человечьи пожалеет, а бывает человек - хуже собаки...

- Всякие бывают, - согласилась Фроська. - Я вот уважаю работающих. Но не всех. Есть такие, у которых работа - не в радость. Горбят и горбят, спины не разгибая... А жизнь идет и идет. Жизнь-то ведь за деньги не купишь, хоть ты сколько их заработай!..

Осень отпустила лето на побывку. Был хрустально прозрачный звонкий денек, отлитый из нежной голубизны и яркого солнечного сиянья. Ветер с налету выкрадывал золото у тополей.

После работы Никита и Фроська решили сходить в кино.

Теперь они часто ходили в кино. На первых порах каждая такая вылазка давалась Никите трудно: душу царапали неприязненные взгляды знакомых. Тревожился за Фроську - каково ей?

А ей - ничего. Она как тот воробей, что выкупается в пыли, а потом отряхнется бедово - и ни пылинки, ни пятнышка на перьях.

С Евдокией они тоже бывали в кино. Но много реже. И выглядело это иначе.

Разговоры о том, что, дескать, не худо бы в кино сходить - говорят, картину хорошую привезли, - тянулись дня два, а то и три. Потом Евдокия торжественно сообщала:

- Взяла. По двадцать пять копеек.

Сборы растягивались часа на два. Каждый раз оказывалось, что парадный коричневый костюм Никиты почему-то весь в

пуху, а выходное платье Евдокии надо ушить или, напротив, отпустить. Потом долго вспоминали, куда упрятали ее новые туфли. А в последний момент никак не могли найти билеты...

Шли под руку, медленно, степенно. Со встречными знакомыми здоровались свысока. И вообще их походка и каменные лица почему-то изображали торжественную спесь.

В кинозале Евдокия сидела всегда очень прямо, цепко ухватившись за подлокотники. Лицо неподвижно. Смеяться начинала чаще всего с опозданием, когда весь зал уже дохохотывал вторую волну. И смеялась странно: прикроет ладошкой рот и издаст с полдесятка холодных клохчущих звуков.

Если на экране жена изменяла мужу или уходила от него к другому, Евдокия всю обратную дорогу кидалась в нее тяжелыми, по-мужицки грубыми словами.

- Вертифо-стка! .. С жиру бесится, шлюха. Одного мужика ей мало, второго подавай!.. И покажут же такое!

С Фроськой получалось куда проще. Заглянет после работы:

- Может, сходим в кино?

И вот они уже в зрительном зале. И льется на них радость и боль экрана.

Фроська сидит, чутко устремив вперед остренький подбородок. В глазах мерцают и пенятся отблески чужой неведомой жизни, которая в чем-то неясном, неуловимом и ее собственная, Фроськина, жизнь. В драматических местах она хватается Никиту за руку, шумно переводит дух, а иногда и всплакнет. И тогда быстро-быстро, будто опасаясь что-то упустить, смахивает слезы костяшками согнутых пальцев. И на отвердевшем, странно замкнувшемся лице ее читается не жидкая бабья жалость, а мужественная решимость перестрадать, перетерпеть, потому что хорошее - оно ведь все равно победит!

Было что-то заразительное в этой способности Фроськи распинать свое сердце на экране. Раньше Никита любой кинофильм смотрел с неподатливым, снисходительным высокомерием - дескать, знаю, что все это выдумки, вроде сказки для взрослых, но от чего бы не посмотреть, если интересно. Душа его была недвижима, как море, скованное льдом... А теперь протянулись к ней от Фроськи горячие токи, и лед истаял, и обнажилось под ним море доселе незнанных чувств, и стал экран луной, командующей их приливами...

...В саду развился ветер. Как шалый котенок гонялся за опавшей листвой, ретиво ворошился в замусоренных корзинах кустов.

Неподалеку от кинотеатра сели на скамейку перед клумбой, на которой посреди грязно-желтой осенней пороши смиренно увядали скромные розовые цветы. Их тонкие жилистые стебель-

ки были уже тронуты смертной желтизной и зябко сотривались при каждом дуновении.

Фроська, закинув руки за голову, загляделась на небо. Каждая черточка ее лица звострилась, морщины разгладились, во взгляде - мудрая безмятежность.

"Красивая она..." - подумал Никита. В нем шевельнулось непонятное чувство утраты. Казалось, Фроська отдалялась от него, ускользала куда-то туда, куда ему путь заказан.

- Ты знаешь, - грустно заговорила Фроська, - почти три десятка лет под небом кожу, а по-настоящему его видела, может, раза три или четыре. Да и то больше в детстве. Мы, наверно, только в детстве удивленно глядим в небо, а потом перестаем его замечать, как в доме потолок. И зря, по-моему. Надо чаще смотреть на небо!.. Когда долго-долго смотришь на него, странно получается, - обязательно о жизни начинаешь думать. И какое оно ни есть - ясное, серое от туч или черное, грозное - на душе светлеет. Пусть и холоднее становится на душе, а неразберихи меньше - забываются всякие скучные мелочи.

Никита молча крутил на пальце кепку.

- ... И если приглядеться, оно всегда красивое, небо, - продолжала Фроська, - даже когда тучи по нему бегут. Посмотри, какое оно сейчас - во-он там, на горизонте...

Никита перестал вертеть кепку и послушно воззрился туда, куда показывала Фроська. Небо как небо, ничего особенного.

- Красивое, - сказал он на всякий случай.

- Оно зеленое, правда? - чему-то обрадовалась Фроська. - Не совсем правда, а такое... будто речной лед на изломе. Льдистое!.. А выше, видишь, лиловые полосы облаков.

После этого Фроська умолкла надолго. И, наверное, нужно было это молчание, чтобы Никита, увидев ее, Фроськино лицо, открыл его по-своему, для себя. В нем разверзлась какая-то емкая глубина, жадно всасывающая и эту прозрачную зеленую голубизну и, как будто заодно с нею, сладкие запахи прелой листвы, тонкое бродяжье позвенькивание ветра и материнскую хлопотливость осени, раздевающей деревья ко сну...

- О чем ты думаешь? - спросила Фроська, мягко взъерошив его волосы.

- О тебе, - не сразу отозвался Никита.

- Обо мне? А что ты думаешь обо мне?

Никита неторопливо закурил и заговорил тихо и удивленно.

- Хорошая ты. До радости охочая, как птица... Непонятно только: я жил вроде правильно, во всем порядок, а у тебя жизнь была... со всякими катавазиями. А сейчас получается, что ты меня жить переучиваешь. Как это, а?

- Да разве я переучиваю?

- погоди, - поморщился Никита. - Я не в укор. Понять хочу. Сам вижу: жил да жил, иначе и не надо, кажись... А получалось как-то темно, скучотливо. Жил и жизни не знал. Можно сказать, как воду ее расходовал. И даже вкуса не понял... А оно, может, раз-другой еще черпанешь и дно завиднеется...

- Ну, это ты...

- погоди. Тут понять надо... Ты часто сидела в этом саду?

- Сидела...

- А я - хошь верь, хошь не верь - первый раз... Однажды приходил сюда, правда. Так знаешь, зачем? Тайком от людей сучьев нарезать, чтобы помидоры подвязывать. Ну, и это... Никакого неба, конечное дело, не разглядел...

Фроська вкрадчиво потерлась щекой о его плечо:

- Какой ты... Хорошо, что ты такой. А я думала...

Никита взглянул на часы и поднялся.

- Пойдем. Шесть минут осталось.

Фроська не пошевелилась.

- Пойдем. Опоздаем! - потянул он ее за руку.

- Не хочется, - жалобно протянула Фроська. - Такой хороший вечер... Мне кажется, больше уже не будет таких вечеров. Будут серые тучи, дождь, слякоть... Эти цветы умрут... А потом снег: все бело, пусто и холодно... Давай не пойдем?

- Как... не пойдем?

- Да так! не пойдем и все.

- Так билеты ж куплены. Продавать их, что ли?

- Можно и не продавать. Подумаешь, семьдесят копеек...

Никита неловко потоптался у скамейки, сел, растерянно поглажив колени.

- Как знаешь...

И умолк. Больше ни о чем говорить не хотелось.

То ли с самого детства, то ли уже при жизни с Евдокией в Никите утвердилось боязливое уважение ко всяким билетам. В них чудилась ему сила, которой и в деньгах нет. Потеряешь рубль - неприятность, потеряешь билет, пусть он и всего-то полтинник стоит, - почти беда. Потому что билеты - это мечты, это хлопоты и белокожные сборы, это разрешение на маленькую преходящую перемену в серой монотонности жизни.

Он сидел подавленный, негодующий, недовольный своим негодованием - "оно, ить, правда, семьдесят копеек..." - и зло сопротивляющийся этой своей новой, пробужденной Фроськой готовности на самое давнее, устоявшееся в себе посмотреть ее бестрепетными глазами...

Через полчаса Фроська со вздохом поднялась.

- Зря не пошли. Знала бы, что ты так... Молчишь и молчишь. Мне же с тобой хотелось побыть. Я тебя будто заново увидела!..

У дома Никиты Фроська замедлила шаги. Он открыл калитку и, не оглядываясь, не говоря ни слова, пошел к крыльцу. Распахнутая калитка басисто скорготала ржавыми петлями.

Поднимаясь на крыльцо, он услышал, как, сначала медленно и недобруменно, потом все решительнее и быстрее, простучали по мосткам вдоль забора по-девичьи острые Фроськины каблучки.

С получки Никита напился.

Он сидел на кухне перед залитым водкой и огуречным рассолом столом, быковато метал головой и плакал обильными пьяными слезами.

Взгляд его упал на подаренную Фроськой картину.

- Аленушка... Висишь. Красуешься... А старички... А упокойнички где?.. Нету. И Евдокии нету. Никого нету. В комод их! Чтобы Фроське не мешали... Не-эт! Это как же так, чтобы к старикам без уважения? Не позволю!..

Он тяжело поднялся, прогремыхал в зал, ухватившись за раму картины, рванул ее на себя и, не удержав равновесия, рухнул навзничь.

- Никита! - охнуло от двери испуганным Фроськиным голосом.

- А, это ты? - все так же лежа стал поворачиваться к двери Никита. - Пришла... Припожаловала...

Фроська с трудом подняла его, усадила на диван. Укорила, испуганно подрагивая бледными губами:

- Зачем же ты так?.. Этак и убиться можно.

Никита молча болтал бессильно обвисшей головой. Потом поднял на Фроську мутные, злобно сощурившиеся глаза.

- Ты?.. Пач-чему ты?.. Из-за тебя бл-лук-каю. Вся жизнь винтом!.. Картинки тебе... этого самого... люстры... цветочки... Семьдесят копеек тебе - не деньги... Все неп-правильно! Не по хоз-зайски! А я кто? Я хозяин. У меня п-порядок должен быть, во!.. И ты в мою жись не встревай. Кто ты есть, чтобы встревать?.. Ты моя п-полюбовница. И весь сказ. И все. И больше ничего...

- Никита, ты пьяный. Зачем ты так? Ложись отдохни. Завтра поговорим, - уговаривала его Фросьма, а сама с брезгливой жалостью растегивала ему ворот, етаскивала сапоги.

Никита и уступал, и сопротивлялся, метал головой, бормоча

уже что-то вовсе неразборчивое. И вдруг напряжился, оттолкнул ее, свирепо взревел:

- Уйди! Уйди, мать т-твою!..

Фроська отшатнулась, посмотрела на него грустным, прощающимся взглядом, устало пошла к двери.

...Проснувшись, Никита долго смотрел в потолок. Голова словно ватой набита, горло пересохло, во рту клейкая горечь.

Босо прошлепал на кухню, зачерпнул из бака воды. Ковш глухо скрежетнул по дну. Этот скрежет холодом пал на плечи. Перед глазами зазыбилось виденье: чуть тронутое закатной позолотой зеленое небо и воздетые к нему черные руки тополей... Вспомнилась Фроська. Отыскалось во тьме беспамятства вчерашнее.

"Ну и пусть, - подумал, мотнув головой. - Ну и пусть. Кто она мне?"

"Если что - женись", - упал в тишину жестяной голос Софии.

"Надо жениться, - согласился Никита. - А на ком? На Фроське?.."

"Допрежь со мной только посоветуйся. А то, гляди, какую-нибудь вертифостку возьмешь..."

"Это так. Мне хозяйка в доме нужна. А Фроська - хозяйка?"

Он так и не смог ответить на этот вопрос. Евдокия была хозяйкой, тут сомнений не было. А Фроська... Она не такая, как Евдокия. "Слишком легко живет, - рассудил Никита. - И деньги к деньге зазывать не умеет..." Но тут вдруг вспомнилось, что, побывав однажды в ее доме, он поразился царщей в нем приветливой чистоте. Все, что было стеклянного, лучилось и смеялось. Скатерти и занавески самодовольно похвалялись неопикуемой белизной. В таких домах растут здоровые и веселые дети... И еще вспомнилось, что по двору Фроська хлопочет, пожалуй, не меньше, чем Евдокия...

"Поеду-ка к Софье, - решил Никита. - Отпрошусь и поеду. Она худого не присоветует".

За столом Софья сидела прямо, прижимаясь затылком к высокой спинке тяжелого резного стула. Руки покойно упрятаны под пуховую шаль. ("Тещина шаль", - отметил Никита.) Говорит, узко расщеляя рот, будто с неохотой выпуская слова на волю.

- Муж ейный был шахтер. Большие тыщи зарабатывал. А спроси, водились у них деньги когда?

- Пил он, - бесцветно возразил Никита.

- "Пил"... Нешто мы не пьем? Тоже, чай, мимо рта не проносим. Так еще посчитай: ты один на всею семью работал, а они обои...

- Так-так... Эт точно!.. - поддакивал сморчковатый Софьин

муж Евсей. Он пытался держаться со степенной солидностью, но роль была явно не по нему. Руки блудливо бегали от тарелки к тарелке, глаза, едва он брался за бутылку, словно мышь от кошки, улепетывали от всевидящего взгляда жены.

- Не в пьянке дело, - продолжала Софья. - Она все деньги на тряпки переводила. У нее этих туфель да платьев всяких, как у принцессы...

Она по-мужски решительно опрокинула рюмку и звучно захрумкала огурцом.

- Ты, может, думаешь, я на деньги жадная? Да мне, если то, их сроду не надо. Жизнь велит. Без денег нет у человека самостоятельности. Есть они у тебя, и ты - самостоятельный, понимающий о себе человек. Кто другой купил что-нибудь и радуется. А ты смотришь на него: "Дурак! Да захочу - вдвое, втрое куплю!" А сам, может, и не купишь. Потому как оно тебе без надобности...

Софья все говорила и говорила - темно, непонятно, нудливо. Никиту постепенно засасывала тягучая, вязкая тоска. Деньги, деньги... А зачем они, если их не тратить? Старуха да Евдокил хоть проще говорили: про черный день. Наверно, похороны и есть этот черный день?..

Он наливал себе снова и снова. Но не пьянел, а словно отодвигался куда-то от бесконечного софьиного бормотания и угодливых евсейкиных "так-так". Тяжело опершись локтями о стол, утопив в ладонях смятые щеки, он на какое-то время забыл, где находится и кто с ним. Из прозрачной зеленой дали бесплотно, прерывисто, как рыба в аквариуме, наплывала на него Фроська, почему-то похожая на Аленушку...

- Мы для такого жениха настоящую невесту сыщем, - прорывался к нему насмешливый голос Софьи.

- Н-не надо! - он тяжело повел головой, потянулся было к бутылке, передумал, долго ловил вилкой кружочек лука и, отправив его в рот, впился в Софью ехидно косящим взглядом. - Говоришь, поживилась на похоронах? Я зна-аю, сколько к твоим рукам от тех шести тысяч прилипло. Горем моим попользовалась. Ну и ч-черт с тобой! Подавись! Все равно и сама помрешь. И будут петь на твоих поминках: "Распрягайте, хлопцы, коней"... Весело будут петь! А я... этого самого... и плясать пойду!..

- Напился, - брезгливо сказала Софья. - Веди его спать, Евсей.

Тот довка вызмеился из-за стола.

- Пойдем, пойдем, Никита. Лягнешь, отдохнешь, с дороги-то, с устатку. А завтра поговорим. Пойдем!

- Н-нет, я не пьяный, - отстранялся от него Никита. - Я... - И тут как-то сразу обмяк, понурился, позволил себя поднять и расслабленно загребая ногами, пошел на кухню. Там прямо на

полу для него и Евсея (пьяного его Софья с собой никогда не клала) была приготовлена постель.

Проснулся Никита рано. В окна несмело тыкался иззябший серый рассвет. Голова ясная, во всем теле бодрое нетерпение. Хочется сейчас же, немедля что-то сделать. Весь вчерашний хмель куда-то начисто улетучился.

Рядом, по-банному навертев вокруг шеи простыню, мокро всхлипывал Евсей. Подумав, Никита толкнул его в бок.

- А? Что? - суматошно вскрикнул тот. И, изгоняя сонную одурь, тревожно уставился на Никиту. - Ты что, Никитка? Сколько время?

- Ладно... Будет тебе спать. Поговорить надо, - сказал Никита, сматывая с него простыню.

- Так-так, - сразу успокоившись, закивал головой Евсей. - Это точно. И поговорим. Об чем?

- Ты скажи, тебе такая жизнь нравится?

- Жизнь? Так-так... А что? Живу - не жалуясь. При недостатке.

- А откуда он у тебя, этот недостаток? Ты - сторож, Софья вовсе не работает...

- Софья не работает? Напрасная у тебя такая видимость. А огород? А корова? А свиньи? А гуси-курицы всякие? А знаешь, сколько она за лето на базар ягоды да колбы сволакивает? Э-э-а... Конечно, и я не без того, помогаю. Оно и хорошо, что сторож - цельный день дома.

- Поня-дно... А это что, специальность у тебя такая - сторож?

- Не-е, - дребезгливо рассмеялся Евсей. - Скажешь тоже. Какая это специальность? Специальность у меня настоящая - вагонный осмотрщик. Слышал? Первехущая специальность. А я при ней навроде профессора был. Я, брат, больную буксу и на цвет, и на запах, и на ошуп угадывал, эт точно! Я, брат...

- А платили тебе сколько?

- Хорошо платили! Я, брат, почти каждый месяц премии получал. А раз меня на почетную доску повесили. И подписали: "Евсей Иванович Клевцов..." По полной хворме, значит...

- Чего ж тогда в сторожа подался?

Евсей сразу сник. Ответил нехотя, отводя глаза, что-то рассеянно стряхивая с подушки.

- Софья. Она приказала...

- Приказала? Она что, над тобой командир?

- Софья?

Евсей помолчал.

- Эт, знаешь, какая женщина? Эт, брат, император! Другой раз только глянет - у меня в животе похоронная музыка начищается. У-у-у, ты не знаешь!..

Он снова помолчал. Потом, округляя глаза, зашептал горячо прямо в ухо Никите:

- Я так думаю, Никитка: страшнее бабы только геморрой. Это же ужасно чего они с нашим братом делают. Всеё нашу жись как хотят, через колени гнут!..

- Дело не в бабах, - задумчиво сказал Никита. - Да и бабы разные бывают...

- Эт так, эт так, - согласился Евсей. - Оно, конечно, ежели поглядеть, нам с тобой одного корня бабы достались. Однако и другие бывают... Есть тут, к примеру, Манька Чухнова...

Тут Евсей загнулся, громко сглотнул слюну, оторопело завозил по постели руками и ногами.

- Эх меня занесло... Проговорился!.. Ну да ладно уж, скажу. Только ты, брат, меня не выдавай. Эт с ею тебя Софья свести хочет. А ты не поддавайся. Эт, знаешь, какая баба? Поглядеть - красивая, гладкая, но толста-а-а... Одного сала, поди, пудов пять или шесть...

- И ее - мне в жены?

- Угу. Ты слушай. Знаешь, как она мужика своего уморила? Вертанулась ночью с боку на бок, задела чуть своей седалицей - а она у ней, скажу, как скирда сена, - мужик брык на пол, ровно кутенок, да так и проспал до утра на холодном полу, потому как был крепко выпимши. К вечеру температура. А денёков через восемь помер от воспаления легких. Во баба!..

- Так что же Софья... Выходит, враг она мне?

- Не в этом дело. У Маньки денег - громадные тыщи... А еще тут такая оказия: они с Софьей одними словами про жись говорят. Эт, брат, важно. Заговорю я твоими словами и сразу сделаюсь тебе первый друг, и ни в какую мою подлость ты ни в жись не поверишь. Потому - тогда и на себя надо поглядеть.

- Посмотрю я на всех вас, - со злобой сказал Никита, - говорите вы, говорите, путаете, путаете... А живете темно, шкодливо. Вот ты сейчас расписал мне эту Маньку - во сие бы не видать. А за завтраком, как Софья заведет про нее разговор, подъялдыкивать будешь: "Так-так. Эт точно"... И людей, и себя словами всякими морочите. Они как хворост над волчьей ямой, эти ваши слова. Провалиться бы вам вместе с ними ко всем чертям!

- Никита, ты что? Никитка! - встrepанно привскочил Евсей. Да я ж от всей души! Я ж...

Никита рванул со стула рубаху и штаны, матерясь, быстро и небрежно натянул их, вколотил ноги в сапоги...

- Бывайте!

Дверь гудко отрубила за спиной арканом заметнувшийся оклик Евсея.

И встала тишина. На станции проворно сверлили эту тишину острые гудки маневровых паровозов...

МИЗГИРЬ

В те пятидесятые годы стояловский дом в Яблоновке был таким же привычным ориентиром, как, скажем, клуб, райком или сельмаг.

- Где живешь?

- Через четыре двора от стояловского дома.

И все понятно. Потому что этот дом не спутаешь ни с каким другим. От остальных он отличается примерно так же, как океанский пароход от речного буксира. Могучее строение из непомерно толстых бревен, невесть откуда взявшихся в этой мелкоколесной местности. Окна так высоко над землей, что до них с трудом дотянешься рукой. На ночь они запираются массивными ставнями, гремучими коваными прогонами. Вокруг дома - высокий тесовый забор. Вдоль забора по блоку мечется необыкновенной злобности пес Акбар. Ни одного деревца, ни одного цветочка у дома не увидишь. В маленьком палисаднике, словно сознавая свою ненужность, вяло и неохотно вытыкается весенней чахлая травка. Но и ее тут же принимается старательно сщипывать однорогая стояловская коза.

Федор Степанович Стоялов, с давних пор награжденный кличкой Мизгирь, был сух, подвижен. Ходил быстрой семенящей походкой, раскачивая руки где-то за спиной. Маленькие серые глазки его были постоянно устремлены на кончик длинного бледного носа, словно он разглядывал там что-то любопытное.

Жили Стояловы замкнуто. Сами ни к кому не ходили. И к себе не звали. На селе не помнили случая, чтобы кто-нибудь запросто, по-соседеки побывал в стояловском доме. Из-за этого он стал какой-то загадкой, будоражил воображение. Особенно у детворы. Сколько раз Алешка Соснов со своим приятелем Васькой Дроновым пытался заглянуть в ставни, сквозь тускло сочащийся светом щели. Так ничего и не увидел. Взгляд выхватывал лишь кусочек стены у потолка, косяк двери, какие-то пляшущие тени. К десяти часам вечера дом, бывало, погружался в полную тьму.

Одно было доподлинно всем известно. Ни одна семья на селе не могла похвастаться со Стояловыми достатком. Знали об этом не потому, что он бросался в глаза. Вовсе нет. В магазинах Стояловы брали обычно все самое дешевое, одевались скромнее скромного, даже по праздникам. Впрочем, праздники они, кажется, и не отмечали. Бывало, Первого Мая весь народ, принарядившись, идет к клубу, а Мизгирия встречают на пути к реке в задрюканном пиджачке с удочкой через плечо.

О недостатках этого семейства судили по его заработкам. У него было особое умение зашибать деньги.

Главным старателем был сам Стоялов. Природа щедро одарила его особой мужицкой сноровистостью. Как никто другой, шил он сапоги, столярничал, плотничал, мастерски чинил жестяной домашний скарб, разбирался в часах и швейных машинках. Умел безошибочно находить самые рыбные места на реке, самые ягодные и грибные в лесу.

С весны до осени торговали Стояловы в городе черемшой, земляникой, ежевикой, рыбой и грибами. Зимой главной статьей дохода становились кухонные столы, табуретки, а порой и гробы. Помимо этого перепадало за починку обуви и домашней утвари. Работали страстно, с каким-то ожесточением. И невольно дивились колхозники: для чего надсажаются?

За всю свою жизнь Федор Стоялов, наверное, не отбатрачил в колхозе ни одного трудодня. И все же умел с ним ладить. Только падет на поля первый летучий снежок, у стояловской калитки появляется Алешкин отец, бригадир. Хозяин, не торопясь, выходит к нему, окруженный густым собачьим лаем.

- Федор Степанович, выручай, - краснея, говорит Илья, - пару дровен нужно сделать.

Федор Степанович плотно затворяет за собой калитку и принимается молча разглядывать свой нос.

- Сделаешь, что ли? - еще больше краснея, грубо спрашивает бригадир.

- Сделать-то можно, отчего нельзя. Дело - не хитрое для работливых рук. Да недосуг. Трудодневый минимум отработать надоть.

Илья багровеет до крутого заливка. Набычившись, поводит щекой в сразу потесневшем вороте рубахи.

- Об этом не беспокойся. Начислим.

- Да и здоровьишком я нонче что-то ослаб. Поясницу гвоздит, под лопатку стреляет. Не знаю, осилю ли, - привычно кобенится Стоялов. - Было бы из чего стараться...

- Сколько тебе?

- Как тут сказать... Сотни этак по три, ежели с трудоднями.

Долго после такого разговора плюется бригадир. Войдя в правление, обессиленно валится на лавку.

- Одно слово - мизгирь!

В душе он клянется, что это в распоследний раз. Но через год, когда снова приходится думать, на чем сено к фермам подвозить, понурившись, сам предлагает хитро сощурившимся председателю ударить челом Стоялову. Тот, хоть и две шкуры сдерет, но уж сладит дровенки - не подкопаешься. И служить они будут долго.

Готовый товар Мизгирь всегда неохотно выпускает из рук. Все ходит вокруг, оглядывает. Там молотком пристукнет, здесь

шкуркой пройдетя. Наконец, отвернувшись, вздохнет:

- Берн, что ль...

Видать, в душе Мизгиря странным образом уживалась древняя крестьянская жадность с бескорыстной любовью к своему искусству и плодам его.

Первоначальная дружная неприязнь к Стояловым с годами улеглась. И исчезли они - на селе чего-то занехватает. Не работников, хотя нечастая в нынешних селах их разносторонняя умелость многих выручала. Скорее - привычной болячки, чего-то чудного, не совсем понятного, что разнообразит небогатый красками колхозный быт.

Но однажды произошел случай, поселивший в душе Алешки Соснова жгучую ненависть к Мизгирю на многие годы.

Давно уже у Алешки не было такого невезения. За целый день рыбалки - ни одного захудалого чебачишки. Сматывая удочки, он сокрушенно думал о том, как будет идти через все село с пустым ведром. А главное, никак не минуешь Ваську Дронова. Он сейчас как раз голубей гоняет...

Алешка представил, как Васька соскочит с сарая и с ужимкой ухватится за ведро.

- Тебе помочь, Алеха? Не надорвешься?

Нет, лучше уж пройти берегом до самого конца села, а уж оттуда пробираться к дому.

Крутой сутлинистый берег зарос вперемешку малиной, волчьей ягодой и шиповником. Вызмеившаяся по нему узкая тропка то прыгала в воду, то взбегала на трухлявую глинистую осыпь. Босые ноги то и дело натыкались на обломанные сучки и узловатые корневища.

Через несколько минут ходьбы Алешка сдался: вся спина его была исхлестана и изодрана, ноги в ссадинах и чешуйчатых крапивных волдырях. Будь, что будет, - он решил идти напрямик к селу.

Но тут его взгляд, измельтешенный переплетением ветвей, выхватил четыре ошкуренных прутика, покойно, в ряд склонившихся над водой.

Удочки!

Украдчиво спустившись к реке, Алешка оказался у маленькой тихой заводи, воле которой никогда не бывал. Вокруг - ни души. Кто же это сюда забрался?.. Внезапно у второй от него удочки поплавок дрогнул и круто ввинтился в воду. Алешка выронил ведро, отшвырнул свои удилища и, не раздумывая, выхлестнул лесу с трепещущим на крючке пузатым окуньком.

- Попался, голубчик!

В этот момент его шею сдавила костлявая рука. Он дернул-

ся, но вырваться не смог. В лицо ему близко заглянули злорадно торжествующие глаза Федора Стоялова.

- Пустите... Я не хотел..

- За чужой рыбкой охотишься?

- Да нет!.. Я только посмотреть!..

- Ну, посмотри. Там много.

В следующее мгновение Алешкина голова очутилась в воде. Он рванулся, задергался изо всех своих мальчишеских сил, но рука, скогтившая его шею, не ослабевала. Перед Алешкиными глазами заметались зеленые, оранжевые и красные круги. Уши налились мутным звоном. Грудь стиснуло удушье.

- Дя-а-а... - безголосо вспузырился его отчаянный крик.

Тут Мизгирь выдернул Алешкину голову из воды и с холодным любопытством воззрился в застланные ужасом глаза.

- На чужую рыбку потянуло?

- Дяденька, миленький, не буду, не бу...

Новый всплеск задушил Алешкину мольбу.

Это продолжалось бесконечно: вода, ускользящие глотки воздуха, снова вода, рвущаяся в грудь, смертным холодом заволакивающая сознание, и размеренный голос: "Чужой рыбки захотел?..", "На чужую рыбку потянуло?.." Казалось, он звучал и под водой. Казалось, и там прямо в смятенную Алешкину душу остро вонзались холодные глаза Мизгирия.

В голове Алешки что-то со скрежетом сдвинулось, съехало в сторону, завертелось в густеющем мраке. К горлу подкатила тошнота. Колени подогнулись...

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы скатившийся с обрыва деда Денис, неподалеку пасший стадо, не положил конец этому истязанию. С невесть откуда взявшейся силой он отбросил Стоялова в сторону и вытащил мальчишку на берег.

Тот походил на утопленника. Вздутый живот, посиневшее лицо с безумными выпученными глазами...

- Ах ты гад, ты гад... Так измываться над мальчонкой, слезливо причитал пастух, суетясь подле Алешки.

Воинственно вскинув голову и занеся над головой сухонький кулачок, он двинулся было на Стоялова:

- Креста на тебе нет, сучий окорок!

Но тут же спохватился, склонился над мальчишкой:

- Эх он тебя измордовал! Ты вот что... Сядь... Сблевани воду-то... Сблевани... Сразу полегчает...

Не сразу пришел Алешка в себя. А когда опомнился, затрясся в неостановимых судорожных рыданиях. Обида, страх, боль, едкая жалость к себе - все сплелось в крутой кровотокающий клубок... Потом, через много лет, как только вспоминал он об этой истории, тот клубок снова и снова подкатывал к сердцу. И взрослому, ему становилось нестерпимо обидно за себя, мальчишку.

Обмытый, согретый, закапанный теплыми материнскими слезами, Алешка уютно свернулся на кровати под ватным одеялом. В голове медленно всплывали мутные видения. И среди них одно - неотступное, как навязчивая мелодия: четыре тоненьких белых прутика у мирной солнечной заводи. А может быть, только они и были? Может, все остальное - кошмарный сон?.. Спать... Спать... Как хорошо в сухой и светлой комнате. Как хорошо, что мать тихонечко возится на кухне, что так спокойно тикают часы...

Когда он проснулся, были поздние сумерки. К окнам присосались жидкая синева. Комнату заполнил мягкий полумрак. Из кухни доносился приглушенный разговор матери и отца.

- Не надо, Илюша, - упрашивала мать. - Не связывайся. Бог с ним...

Алешка насторожился. Мать с отцом редко называли друг друга по имени. Обычно просто - "мать", "отец". А вот такого "Илюша" он отродясь не слышал.

- Не бойсь... Я с ним по-доброму, - угрожающе гудел отец.

Поняв, что он собирается идти к Мизгирию, Алешка затрепетал от злорадного предвкушения. Он знал, что свинцовая неповоротливость отца таит в себе огромную силу. Тревожила только мысль о собаке Мизгирия.

Вернулся отец неожиданно быстро, через каких-нибудь полчаса. Мать сразу же вышла из кухни, стала, прислонившись ватным косяку кухонной двери, и впиалась в мужа вопрошающим взглядом. А руки безостановочно скрипят и скрипят по чашке посудным полотенцем.

- Данай ужинать, - досадливо стрельнул в нее исподлобья глазами отец.

Ужинали молча. Мать прислуживала отцу с особой робкой готовностью.

- Был у Федора? - наконец не выдержала она.

- Был.

- Ну и что?

- А ничего. Потолковали...

- И что?

- Говорю, ничего.

Отец поднял на мать спокойные глаза и отдельно повторил:

- Ни-че-го.

Мать радостно оживилась, пуше прежнего засуетилась у стола.

Лишь много позднее, уже после смерти Мизгирия, приехав на канюкулы с первого курса института, Алешка выпытал у отца, что произошло у Стояловых в тот вечер.

... Долгое время на стук Илы Соснова откликался только перехваченный ошейником хриплый собачий лай. Потом во

дворе послышались неуверенные шаги, прибадривающийся кашель.

- Кто?

- Открывай, Федор.

Настороженное молчание.

- Соснов, что ль?

- Я самый. Открывай. Или через калитку толковать будем?

- Жжикнул засов. Калитка приоткрылась.

- Чего тебе?

Илья круто отдавил калитку плечом.

- Держи пса. Не уличный к тебе разговор.

Сели на кухне по обе стороны длинного стола, покрытого выкрошившейся зеленой клеенкой. На другом конце его склонилась над тетрадью дочь Стояловых. Илья часто встречал ее на улицах. В не по-детски длинном платье, в неопределенного цвета брезентовых тапочках она всегда что-нибудь тащила. Чаще всего ведро с водой или корзинку с ягодами. От тяжести тоненькая рука ее напрягалась, как струна, обнажая на сгибе нежную синюю жилку, все тело подавалось набок. Но несла она свою ношу всегда очень бережно, осторожно, быстро перебирая ловкими ногами.

Сейчас при голом свете засиженной мухами электрической лампочки, он увидел ее за столом в новых подробностях. И ударилась в сердце ее худоба, ее жиденькие косички, прихваченные разноцветными тряпицами - на ленты, зная, поскупились, - и белесый голодный пушок на щеках.

Он отвел взгляд. По-деревенски огромная кухня была вся завешана вязками лука и грибов. К оклеенному пожелтевшими газетами углу у двери криво притулился помятый жестяной умывальник. В противоположном углу вольготно расположился верстак, весь заваленный инструментом. Под ним как попало валялись обрезки досок, куски кожи, какие-то банки и склянки.

Пахло кисло и неуютно.

Жена Стоялова, сложив руки под грудью, угнездилась на лавке у печи. Глаза ее неприязненно царапали Илью по лицу.

Шел он сюда с каким-то неясным, но решительным намерением. А сейчас вдруг почувствовал, что злость постепенно испаряется, уступая место чему-то похожему на жалость. Эти трое, кровно связанные между собой и удивительно смахивающие всею повадкой друг на друга, были словно из другого племени. Или времени? Все живут сходно, а они наособицу. И как все - не хотят. А может, и не умеют. Другое понимание у них о жизни. Но другое - это еще не значит плохое. Если посчитать сколько они работают...

Илья понял, что живется им, может быть, в тысячу раз труднее, чем остальным. Как все-то - оно легко, а попробуй по-своему под издевки и улюлюканье. Однако держатся, стоят, как

уцалевшие былинки на скошенном лугу. Пусто вокруг, а они не боятся. Он заметил и усталые, чуть ли не страдальческие морщины у глаз Мизгиря, и его по-старчески уже одрябнувшую шею, и изнуренную сутулость его костлявых плеч.

Стараясь все-таки не поддаваться нахлынувшим чувствам, резко спросил:

- Сказывай, как было дело.

- А чего сказывать-то? - вздернул плечами Мизгирь. В голосе его против воли прорвался опасливый истерический визг. - Что сказывать-то? Мальчонка полез до чужого. Ну я его маленько и поучил...

- Врешь. Не хотел он твоего. Посмотреть хотел. Ну а если б и так - неужто топить?

- Топи-ить, - дрожливо усмехнулся Мизгирь. - Говорю, поучить...

- Хороша наука. Парень теперь, может, на всю жизнь пуганый.

- И правильно, - подала голос Стоялова. - Не путай свое с чужим.

Они заговорили наперебой, но слова их плохо укладывались в сознании Ильи. Он машинально наблюдал за тем, как дочка Стояловых, несомненно прислушиваясь к разговору, одновременно выводила в тетради крупные нескладные буквы. "Вдруг налетел, - писала она, - парывистый ветер..."

- Не парывистый, а порывистый, - поправил Илья.

- А? - оторопел Мизгирь.

- Вон, дочка твоя, - ткнул Илья в тетрадь толстым волосатым пальцем. - От слова "порватый" надо, поняла?... - Вижу, не выйдет у нас разговор, - поднялся он. - Это все одно, что глухому с немым.

Уходя, он попридержал калитку, которую с облегчением собирался захлопнуть за ним Мизгирь:

- Счастье твое, Федор, что не я там, у реки, оказался. Кормить бы тебе рыб. И твоих, и Алешкиных...

Погиб Мизгирь нелепо и страшно. Это случилось в тот год, когда Алексей Соснов начинал учебу в институте.

Запозднившаяся весна долго лепетала под снегом тихими несмелыми струйками, набухала в серых, низко проплывавших облаках, покряхтывала речными льдами. А потом враз - размахисто и весело - прорвалась откуда-то с верховьев теплым, беременным влагой ветром и разгулялась всласть. Взвоздрившийся снег осел и, истекая хлопотливыми ручьями, прощально засверкал под победно торжествующим солнцем. Отряхнув снежную нарость, деревья взметнули в яркую синеву темные,

набрякшие соками ветви. На пригорках вылупилась нетерпеливая зелень.

Однажды в сырое мглистое предзорье на реке тронулся лед.

Большие и малые льдины степенно и осанисто покатались целыми караванами, мерцая волокнистыми зелено-голубыми изломами. Время от времени где-то происходила заминка. Тогда они замедляли, приостанавливали свой бездумный бег, слепо карабкались друг на друга. Над рекой повисали скрежет, тяжелые всплески, уханье и грохот. Иногда река почти освобождалась ото льда. Но вскоре набегали новые караваны.

Все эти дни Мизгирь не уходил с берега. В огромных болотных сапогах, с длиннющим багром в руках он зорко всматривался в проплывающие мимо льдины. Вместе с ними река несла бревна, доски, целые плоты, отрывки плетней. Иногда по ней вдруг проеозит неизвестно где сорвавшаяся калитка или неторопливо проплывет на льдине нетронутый стог сена. Все, до чего мог дотянуться багор, становилось добычей Мизгирия. Вечером он погружал речные дары в повозку и с натугой вез домой по липкой хляби.

Однажды он увидел лодку. Быстро увеличиваясь в размерах, поводя воронными боками, она скатывалась между редкими льдинами прямо на него. Мизгирь настороженно замер. Только ноги его от возбуждения ерзали по земле, как у кота, готовящегося к прыжку. Неподалеку от него лодка налетела на льдину, ширкнула по ней бортом и завихляя к противоположному берегу.

- Уйдет!.. - ухнул Мизгирь и в панике заметался по берегу, размахивая багром.

Слева от него, у самого берега начиналась большая льдина. Заделавшись одним краем за густо поросший кустами мысок, она чуть заметно раскачивалась на месте, в любую минуту готовая ринуться дальше. Мизгирь мгновенно окинул ее оценивающим взглядом, а в следующий миг оказался уже на ней. Под ногами его захрустела желтая пузырьчатая корка. Льдина покачнулася.

Вначале он продвигался медленно, осторожно, опираясь на багор, чтобы не поскользнуться. Но лодка, налетев на противоположный край этой льдины, еще дальше откачнулася к другому берегу и, набирая скорость, заскользила вниз по течению.

- Уйдет, стерва, - взбормотнул Мизгирь и помчался к ней большими хищными скачками.

Р-раз! - багор пробороздил воду. Еще стремительный взмах - вот она, косо повернутая к льдине корма. Но багор снова плюхнулся в воду. А вслед за ним, не удержав равновесия, тяжело рухнул в воду и Мизгирь.

Вынырнув, он завертел головой, сделал несколько взмахов в сторону лодки, рассчитывая, очевидно, не только спастись, но

и своего не упустить, да увидел, что за лодкой уже не угнаться. На эти судорожные взмахи ушла большая часть сил. Сапоги неудержимо тянули ко дну. Все-таки он добрался до льдины, попробовал подтянуться. Побелевшие окостенелые пальцы срывались с отполированных встречными льдами краев. Снова и снова он вцеплялся в них с яростью отчаяния. Но сапоги свинцовой тяжестью тянули вниз, и он снова и снова оказывался под водой. И тут из груди его вырвался животный крик:

- Люди! Спа-а-си-и-те-е!..

На берегу быстро собралась толпа. Не упускающий ни одного сборища дед Денис метался от мужика к мужику - хватал их за борта, что-то слезливо кричал. Но те молча показывали ему на стремительно расширяющуюся протоку между берегом и льдиной, которая под напором скопившихся льдов отчалила от мыска и отправилась в свободное плавание.

- Спаси-и-те-е-э!.. - метался над рекой слабеющий крик.

Дед Денис рванулся к реке. Сгоряча как был - в полушубке и валенках - влетел в воду. Но льдины было уже не достать.

В толпе появился Васька Дронов. Взглянул на льдину с цепляющимся за нее в последнем усилии человеком и на беспомощную фигуру деда Дениса, смотнул с ног валенки, сбросил полушубок и через три скачка оказался в воде. Васька был хорошим пловцом. За несколько секунд он доплыл до льдины. Толпа, затаив дыхание, следила за тем, как он, споро перебирая ногами в домашней вязки белых шерстяных носках, подбирался к тому краю, за который пытался ухватиться Мизгирь.

Вот он изловчился, ухватил его за руку, скользясь потянул к себе, вытянул по грудь... Но тот уже окончательно обессилен: облокотившись о льдину, со всхлипами заглатывал воздух, мычал, суматошно дергал ногами, но выбраться не мог.

- Держись, Федор Степанович, держись, - умолял Васька.

Подсунувшись к самому краю, он ухватил Мизгиря под мышки и изо всей силы потянул на себя. Но тут ноги его соскользнули и, больно ударившись о льдину спиной, он сам съехал в воду.

- Ва-ся-а-а!.. - высвердился в толпе голос Васькиной матери.

Васька бодро вынырнул, ловко, без видимого труда вскинул на льдину руки и подтянулся до пояса. Рядом с ним оказалась круто запрокинутая к небу голова Мизгиря. Его костенеющая рука ухватилась сзади за Васькин пояс...

Река сомкнулась навечно. Спокойно и мирно катились к северу льдины, выигрывала на солнце подернутая рябью чистая вода.

- Ва-ся-а-а!.. - рыдало на берегу.

Жена Мизгиря запоздало протиснулась сквозь оцепеневшую толпу, подбежала к воде и зябко вскрикнула:

- Федор! Эх-х...

И не понять, что было в этом крике - то ли жалость, то ли какой-то странный укор.

- Можно до вас? - в приоткрытую дверь кабинета просунулась темная женская фигурка.

- Садитесь, - не отрываясь от бумаг, быковато мотнул Соснов в сторону жирно лоснящегося дивана.

Женщина бережно отодвинула в сторону забытую кем-то кепку с захватанным маслянистым козырьком, села, положив руки на колени.

Соснов продолжал писать. Дело подвигалось туго. Он морщился, поминутно чертыхался. Алексей Ильич вообще не блистал умением составлять казенные бумаги, а тут еще его нервировал спокойный, но явно исподволь изучающий его взгляд посетительницы. Наконец окончательно запутавшись в причастных и деепричастных оборотах, он с досадой отложил ручку.

- Что у вас?

Женщина легко поднялась с дивана и, подойдя к столу, с тихой настойчивостью проговорила:

- Работы бы мне.

- Работы? - Соснов посмотрел на нее с удивлением. Всю свою бытность совхозным агрономом он, можно сказать, только тем и занимался, что для работы искал людей, а тут вдруг наоборот - человек ищет работу.

- Что вы умеете делать?

- Все.

Это было сказано твердо, без тени рисовки.

- Постойте, постойте... Ничего не пойму, - спохватился Соснов. - Откуда вы взялись такая умелая? Почему не работаете? И как я вас раньше ни разу не встречал?

Еще не кончив говорить, Алексей Ильич лжественно почувствовал, что он где-то видел это маленькое морщинистое лицо, облепившее упрямые черные глазки.

- Встречал, Алексей Ильич... Как не встречать... Не здесь только, - тихо возразила женщина. - Может, помните такую - Пелагею Яковлевну Стоялову?

Соснов, не слуская с нее удивленных глаз, нервно зашарил за спиной, в кармане висевшего на спинке стула пиджака. Достав папиросную пачку, с досадой смял - пустая.

- Пелагея Яковлевна?

- Она самая.

- Эх вы изменились за несколько лет!.. Совсем ссохлись. Разве вам в Яблоновке, в родном колхозе дела не нашлось?

- Как не найтись... Жить негде. Дом-то дочка продала. Да и не любят меня там, вы знаете. А у вас, слыхала, на людей большая потреба. Может, и каморку какую ни то найдете?..

Голос ее был ровен. Ни жалобы, ни просьбы даже не слышалось в нем. Деловой разговор. Соснов чувствовал, что привела ее к нему последняя крайность. Но знал: откажи - уйдет, не говоря ни слова. Непоклонная голова.

Прошлое нахлынуло сразу - скопом, пестрой сумятицей забытых мыслей, неулегшихся чувств.

- А как это у вас там с домом все-таки получилось? - спросил он.

- Подговорила меня дочка продать его. В другое село, к родне знала переехать... А как продали, она денежки прибрала и ухватила Бог весть куда. Родня говорит, к ним она не заявлялась. А без денег и мне у родни делать нечего...

- Ну и доченька, - покачал головой Соснов. - Можно отыскать. Не в другое государство уехала.

- Ни к чему. Ничего мне не надо. Пусть пользуется. По тому, как она говорила о дочери, чувствовалось, что к естественной обиде ее примешивается и что-то похожее чуть ли не на одобрение.

- Видать, так никогда и не пойму я вашего брата, - вздохнул Соснов. - Ну да ладно. Определим вас в доярки. И комнату найдем.

Дверь бесшумно закрылась. Алексей Ильич подошел к окну, за которым широко размахнулась пасмурная степь, и долго смотрел вдаль, на зашторенное тучами небо.

"Жива, - удивленно думал он. - Жива. А Васыка Дронов..."
Но в душе уже не было ни прежней боли, ни злости, ни горечи. Все быльем зарастало...

РЫЖИЙ

Пес старел. Его косматая рыжая шерсть утратила сытый металлический блеск, спина прогнулась, умные коричневые глаза словно выщвели. Даже лай у него изменился - стал хриплым, отрывистым, мрачным. Да и раздавался он теперь совсем редко.

Ему как будто все стало безразлично. Целыми днями лежит под крыльцом, положив голову на тяжелые лапы. Изредка лениво поднимется, полакает из разбитого глиняного горшка теплую застоявшуюся воду и снова - в душную тьму, изрезанную сквозь щели белыми солнечными полосками. Когда ему бросают кости, он уже не набрасывается на них, как прежде, с веселой яростью, остается на месте. И только хвостом помахивает - то ли благодарит, то ли извиняется, что не может по-настоящему оценить подарок.

Особенно сдал он после смерти старого хозяина. С утра его пристегнули ржавой гремучей цепью к заброшенной конуре. В калитку повалили незнакомые люди. Их было необычайно много. Рыжий никогда еще не видел, чтобы во двор заходило столько чужих. Сначала он остервенело бросался на них, но ошейник перехватывал горло, опрокидывал на спину. Тогда он забился в конуру и закрыл глаза. Только когда кто-нибудь нечаянно слишком уж близко к нему подходил, он приоткрывал один глаз и неприязненно рычал.

Потом все быстро и густо повалили из дому. Рыжий не выдержал, с лаем выскочил из конуры, но тут же озадаченно умолк. Чужие люди, медленно переступали по ступенькам, осторожно спускали с крыльца неприятно пахнувший узкий ящик, в котором среди цветов покоилось странно изменившееся лицо старого хозяина.

Вся толпа вывалила в широко распахнутые ворота. Ящик погрузили в застланную коврами машину. Из толпы выплеснулись певучие вибрирующие звуки, от которых у Рыжего вздыбилась шерсть на загривке и где-то в неведомых ему самому дремучих недрах его существа родился и вырвался на свободу неумелый, прерывистый вой.

Но вот машина тронулась, покатилась, и толпа выжила за ворота. И вскоре стало совсем тихо и пусто. Так тихо и пусто, как не было еще никогда. Только скрипела качающаяся под ветром створка ворот, которую никто не позаботился как следует закрыть.

С тех пор старого хозяина не стало. Теперь еду по утрам приносил Рыжему молодой. В первые дни пес подолгу смотрел

просительно в его уклончивые глаза. Но так и не нашел в них ответа. Понял только одно - старого хозяина почему-то больше нет. И судя по всему, никогда не будет.

Из его жизни ушло очень важное. Собственно, вся она была связана с этим маленьким, сухоньким человечком, от которого пахло табаком, металлом, машинным маслом и тысячью других неповторимых запахов. Запах табака Рыжий не любил и никак не мог понять, почему его хозяин вдыхает густой едкий дым. А сейчас он тосковал по этому привычному запаху и иногда очень хотел, чтобы новый хозяин закурил. Но этого не случалось.

Вообще Рыжему стало многого не доставать. Жизнь его разом утратила свои самые яркие краски. Раньше нет-нет да и выпадали на его долю мгновения сумасшедшей собачьей радости. Каждую осень хозяин, веселый, взбудораженный, с ружьем на плечом, подходил к нему и произносил волшебное слово "охота". Это слово действовало на Рыжего как удар хлыста. Он начинал с неистовством носиться по двору, вздымая пыль и влискую листву.

Потом они долго шагали по мягкой пыльной дороге, пока не добирались до озера. Там начиналось менее приятное. После каждого выстрела хозяина Рыжему приходилось бросаться в олодную воду. Это ему не нравилось - все-таки он не был настоящей охотничьей собакой. К тому же утку отыскать давалось редко. Хозяин стрелял довольно плохо.

И все же Рыжий был счастлив. Во время охоты между ним и хозяином устанавливались совсем особые, не такие, как дома, отношения. Они делались друзьями, заново проникались друг к другу куда-то затерявшимися чувствами любви и симпатии. А собака, как и человек, тогда только счастлива, когда любима.

Были и другие радости, поменьше. Каждое утро Рыжий провожал хозяина до огромного дома, из-за которого поднимались к небу необычайно высокие трубы. У больших дверей, перенасытно заглывавших пестрый человеческий поток, знакомо пахший маслом и металлом, хозяин на прощанье трепал его за шею и, вытягивая губы в сторону дома, негромко командовал:

- Домой, Рыжий. Домой!

И Рыжий весело, с беспечным чувством освобождения мчался назад, свысока поглядывая на знакомых собак.

Он так привык к этим ежедневным прогулкам, что после того, как старый хозяин пропал, стал увязываться за молодым. Тот тоже каждое утро отправлялся к дому с высокими трубами. Но не пешком ходил, а ездил на трескучей двухколесной машине, испускавшей тошнотворную вонь. Теперь, чтобы не отстать, Рыжему приходилось бежать во всю прыть. А это ему становилось день ото дня труднее. И если он все же продолжал

иногда бегать за двухколесной вонючкой, то только потому, что это перекидывало какой-то мостик к прошлому.

Однажды в доме появилась женщина. Рыжий удивился. До этого очень редко какая-нибудь из них ненадолго заходила по двор. Рыжий относился к ним с добродушным пренебрежением. Уж очень они были пугливы. Стоило гавкнуть или с притворной свирепостью заворчать, как они взвизгивали и прятались за калитку или за спины мужчин. Эта тоже вначале пугалась. Но все-таки приходила снова и снова. И он перестал на нее лаять.

Женщина вела себя по-хозяйски. Лежа под крыльцом, Рыжий с любопытством наблюдал, как она ходит по двору, достает воду из колодца, развешивает белье. Пищу теперь он чаще всего получал от нее. И вкусного на его долю перепадало мало. То были черствые огрызки хлеба, прокисший суп, селедочные головы или пахнущие тиной рыбы потроха.

Бывало, вечерами, когда на небо высыпались звезды, хозяин и хозяйка садились на крыльцо и подолгу о чем-то говорили. Рыжий лениво прислушивался сквозь сон к их разговору, и в нем поднималась густая неизбывная тоска - он чувствовал, что никому теперь не нужен, что все хорошее позади и уже никогда не повторится.

Однажды вечером хозяева, принарядившись, куда-то ушли. Рыжий вылез на улицу через подворотню, обнюхал густо растущую у забора траву и затрусил по дороге навстречу звездам. Он обежал все известные закоулки, побывал возле мясного магазина, где бродило много знакомых и незнакомых собак, слегка сцепился с поджарым черным кобелем. Наконец решил, что пора домой.

Когда он возвращался, было уже совсем темно. Неожиданно поднявшийся ветер раскачивал фонари, шуршал листвой тополей, и было холодно и бесприютно от этого шуршанья.

Недалеко от дома Рыжий увидел хозяина и хозяйку. Взявшись за руки, они медленно шли по краю дороги. Внезапно из подворотни вслед за ними бесшумно выскользнула стремительная черная тень. Рыжий без раздумий бросился навстречу. Это оказался пес, давно ненавистный ему своим коварным нравом. И на собак, и на людей он бросался всегда неожиданно, без единого звука. Рванет изо всех сил острыми, как гвозди, зубами и тут же трусливо шмыгнет обратно в подворотню. А там, за забором, зальется звонкоголосым нахальным лаем.

Рыжий грудью опрокинул его на землю и вцепился в горло. Пес панически завизжал, забарахтался и, вырвавшись, кинулся к подворотне, но со страху не сразу в нее попал, и Рыжий успел еще хватить его за ляжку. Удовлетворенный исходом схватки он побежал к хозяевам за одобрением, но те, испуганные неожиданной собачьей свалкой, отпрянули на дорогу.

Рыжий понял, что они его не узнали и, сразу остыв и поскучнев, антрусил домой.

Проснулся Рыжий поздно. В последнее время он трудно засыпал и еще труднее пробуждался по утрам. Двор был залит солнцем, над повителюю, оплетшей боковины крыльца, прилежно трудились пчелы. По звукам в доме и во дворе Рыжий понял, что нынче один из тех дней, когда хозяйева остаются дома. Это хорошо. В такие дни его кормят немного лучше, чем обычно.

Хозяйка вышла во двор и, что-то мурлыкая, стала натягивать бельевую веревку. Один конец прикрепила к сараю, а второй понесла к крыльцу. Рыжий, наполовину вылезши из-под крыльца, лежал с закрытыми глазами и пытался представить, чем его сегодня будут кормить. Эти мысли были такими вкусными, что он облизнулся. И в тот же миг почувствовал, как левую лапу пронзила жгучая, нестерпимая боль. Не успев ничего сообразить, он вскочил и вцепился зубами во что-то мягкое и соленое. Раздался истошный крик.

Целый день Рыжий покорно ждал наказания. И весь этот день его не кормили и не поили. Было жарко, и его страшно мучила жажда. Он мог бы убежать, мог бы попить из лужицы под водопроводной колонкой, но чувство вины удерживало его на месте.

В сумерки проскрипели доски крыльца и у дыры появился хозяин. Рыжий, виновато повиллял хвостом, искоса взглянул на него и вздрогнул - в руках хозяина было ружье. Какие-то мгновения пес озадаченно смотрел на него во все глаза, а затем прыжком вынесся из-под крыльца и, нетерпеливо перебирал лапами, напряженно замер в ожидании знакомого слова "охота".

Но хозяин молчал.

Человек и собака внимательно смотрели друг на друга. Человек курил. В его зубах впервые дымилась папироса. Неодри Рыжего с жадностью ловили забытый запах, который стал для него запахом любви и печали, а в сердце его стремительно разрасталась тревога. Слишком много было необычного.

И вдруг он увидел, что ружье опустилось вниз, и прямо в глаза ему глянуло черным кружочком. Пес знал, каким беспощадным пламенем вспыхивает эта чернота. Он отпрянул, лег на землю и пополз на брюхе к хозяину, просительно повизгивая и вздергивая хвостом. Ему казалось: только бы доползти, только бы дотронуться до ботинка хозяина языком... Но тут на него с грохотом обвалилась тьма.

Убили Рыжего...

СОДЕРЖАНИЕ

Волька Наклен. <i>Повесть</i>	3
<i>Рассказы</i>	
Фроськино небо	46
Мизгирь	65
Рыжий	76

Сдано в набор 26.01.93 г. Подписано в печать 1.04.93 г.
Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 5,52.
Тираж 3000 экз. Заказ 659.

Издательско-полиграфическое предприятие "Жане-Арка" 1993 г.